

В-26

32654

Ф.ВЕЙСКОПФ

Ястребы загибаются

О Г И З
ГОСЛИТИЗДАТ
1944



Ф. ВЕЙСКОПФ

ЗАРЯ ЗАНИМАЕТСЯ

Перевод В. СТАНЕВИЧ

ОГИЗ

*Государственное издательство
художественной литературы*

МОСКВА 1944.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Под цыганским солнцем	3
2. Зерно в земле	13
3. Гнездо аиста	26
4. Шесть узелков	34
5. Ах ты, клён, ты, мой клён...	51
6. Друзья детства	63
7. Махорка	78
8. Под землёй	90
9. Саранча	108
10. Не время любить	119
11. Куколка	126
12. Камрад	144
13. Страх и ненависть	158
14. Пароль: «Эй, партизан!»	175
15. Заря нового дня	192

Редактор *А. Гурович*

Подписано к печати 11/1 1944 г. Л 2678. Тираж 20 000. 6¼ печ. л.
8,25 учет.-азт. л. Заказ № 1581. Цена 6 руб.

3-я типография „Красный пролетарий“ треста „Полиграфкнига“
Органа при СНК РСФСР. Москва, Краснопролетарская, 16.

1. ПОД ЦЫГАНСКИМ СОЛНЦЕМ

Горы, с которых утром спустился Иван Шитко, теперь, в вечернем блеске, словно опять придвинулись. И всё же они были очень далеко. За ними выступала ещё гряда, а сквозь дымку дали синела третья. Там была граница.

По ближайшим склонам бесконечно тянулись казённые леса. Среди тёмного океана хвои пылали золотые и багряные острова осенней листвы, светлели пятна полей и просек. Над ровной, пушистой щетиной леса вздымались кроны отдельных старых деревьев, словно изодранные боевые знамёна.

Леса, покрывавшие хребты второй горной цепи, были так далеко, что уже не пестрели ни яркими мазками листвы, ни просветами прогалит и просек, ни одиноко возносящимися в небо вершинами; они одевали горы сплошным массивом, плотным и чёрным, как безлунная ночь.

А ещё дальше, на пограничной гряде, леса были, как синие тучи, залёгшие в горах.

Подперев суковатой палкой тяжёлый короб, висевший у него за спиной, стоял Иван Шитко на горной тропе и смотрел на эти леса, тянувшиеся вдоль границы. Там, за ними, дорога сворачивала влево, в Галицию, в низменности; справа высились Карпаты, Верховина. В низменностях люди говорили по-польски, в горах — по-украински, но в Галиции границу стерегла немецкая полиция, а в

Верховине — венгерские жандармы; там же, где не было часовых, на мили и мили тянулась колючая проволока. Но уж таков был новый порядок, изменивший теперь всю жизнь, и навсегда, как властно заявляли надменные немцы в чёрном и хаки и их словацкие наймиты из гвардии Глинки в высоких сапогах и зеленовато-коричневых рубашках, неизменно добавлявшие: на тысячу лет по крайней мере, а то и больше... Или пска всё это не полетит... — как говаривали среди своих люди в лаптях и холщёвых рубахах и здесь, в Словакии, и по ту сторону границы, и в немецком генерал-губернаторстве Польше, и в венгерском королевском комитате на Карпатах. Ну да, пока всё это не полетит, благородные господа, ибо моря не вычерпать и даже самым злым бурям приходит конец...

Иван Шипко плюнул, поправил ляжки короба и зашагал дальше. Но не прошло и четверти часа, как он снова остановился. Он находился теперь на заросшей кустарником вершине холма. Отсюда начинался крутой спуск в долину. Вместо дороги по блеклой траве тянулись многочисленные уже полужаросшие колеи. На дне долины они описывали широкую петлю и пересекали такую же тропу и проезжую дорогу, содержащуюся в относительном порядке.

Иван свистнул собаку, убежавшую вперёд.

— Поужинаем, что ли, Набат, — обратился к ней Иван. — Тут и расположимся, — славное местечко. Как ты полагаешь?

Собака села и застучала хвостом. Иван Шипко улыбнулся, и от этой улыбки его неподвижное суровое лицо, похожее на потемневшую деревянную скульптуру, стало как будто моложе, мягче. Он

снял свой пузатый короб, где у него лежали мышеловки, щётки, волосяные метёлки, плетёнки, деревянные ложки и раскрашенные деревянные тарелки. Сбросив с плеч ляжки, он уселся на землю под кустом. Из украшенной медными бляхами кожаной сумки, висевшей у него через плечо, он вынул хлеб, сыр и расписанную цветами пузатую глиняную флягу, похожую на булку. Хлеб был жёсткий и плоский, он напоминал гладкий голыш, а сыр был похож на крупное гусиное яйцо и тёмнен, как старая смола; этот сыр назывался ошепек — копчёный сыр. Словацкие пастухи держат его над очагом месяцами, пока он не впитает в себя терпкое благоухание тлеющих шишек и сырых, медленно сгорающих сосновых поленьев. Сначала получила свою долю собака — сыр и хлеб, нарезанные крупными кубиками. Затем за еду принялся и сам хозяин. Неторопливо пережёвывая пищу, Иван всякий раз клал в рот два кусочка хлеба и один кусочек сыру. Прищуриль глаза и сдвинув кустистые белые брови, он снова взглянул на пограничные горы.

«Эх вы, синие леса... — думал Шипко. — Не в вашей ли чаще, синие леса, жил Вавринец и другие славные разбойники?.. — Он медленно жевал, и медленно, словно облака, проплывали его мысли. — Да... разбойники...»

Вспомнились рассказы, которых Иван наслушался в детстве. Зимой бабушка брала его с собой в прядельную. Здесь собирались женщины и пряли ткани из грубошерстной пряжи, долго мокнувшей перед тем в стремительных горных ручьях, где вода промывала её, пока она не становилась пушистой, как руно.

Почти все герои этих рассказов были знаменитые разбойники. Они жили в синих лесах — гордые и грозные, жестокие и благородные. Они отнимали у богатых и отдавали бедным. Они вели

борьбу не на жизнь, а на смерть с лесничими и жандармами, преследовавшими их. У каждого из них была своя, особая эмблема; у Штефана Вавринца, последнего из великих разбойников,—звезда и два скрещённых меча. Свой знак Вавринец обычно вырезал на коре деревьев, свидетелей его подвигов, малевал бычьей кровью на дверях лесных сторожек и жандармских барачков; а один раз начертил его даже среди бела дня прямо на стене баронского замка в Жолтаве. Тут-то и сцапали Вавринца и под охраной лесничего и жандарма отправили в крестьянской телеге на ближайшую станцию железной дороги. Но Вавринец ухитрился удрать от них. Спихнул с телеги лесничего, занятого лошадью, а жандарму нанёс «бычий удар» головой. Никто не умел так мастерски наносить этот удар, как Вавринец. Бросившись на жандарма, он что есть силы боднул врага и разбил ему переносицу своим мощным лбом. Да, Вавринец— вот это герой! Жаль, что он теперь лежит в земле на Чёрном кряже возле Чортовой пещеры, где жандармы в конце концов застукали его с его возлюбленной и прикончили после трёхдневной осады. Эх, жаль! Да, теперь такой человек пригодился бы!

Иван Шипко вытащил из-за пояса трубку и закурил. Трубка была такая же старая и потемневшая, как и он сам, но он не променял бы её на десяток новых. Старая трубка—что старая любовь, всё в ней знаешь, никаких глупостей, никаких неприятных открытий...

Солнце село. Сумерки наступили сразу и сразу же похолодало. Вечерний ветер сбежал с гор, словно проголодавшийся жеребёнок. Иван Шипко поднял меховой воротник, поджал колени и потянулся за фляжкой. Запрокинув голову, он поднёс цве-

тастую флягу к губам. Крепкая водка обожгла ему горло и подбодрила.

Ты, моя настоечка,
Что невеста разбойничка...

Иван Шитко замурлыкал песню, и его мысли снова вернулись к благородным разбойникам. Да, уж вот кто умел пить. Он встряхнул фляжку—проверить, много ли осталось. Булькнуло — значит останется достаточно, можно сделать ещё глоточек.

От тебя рука смелее,
От тебя и зорче глаз.

Один глаз всего и был у разбойника Вавринца — левый глаз. Оттого и стрелял левой рукой, но меткость у него была чортова. Однажды, рассказывают старики, в Полане играли свадьбу, вдруг неожиданно появился Вавринец, прямо как с неба упал.

— Эй, кто из вас, девушки, пойдёт плясать со Штефаном Вавринцем, с разбойником?

И невеста-вдова — румянец во всю щеку, сама — огонь, что твой стручок паприки, отвечала ему:

— Да я пойду, коли ты и вправду Вавринец.

— Он самый.

— Сказать-то всё можно...

Разбойник засмеялся и предложил жениху оторвать серебряную пуговицу-флорин от своей свадебной куртки и подбросить её как можно выше. А сам приложился и—бац! сбил флорин на лету. Тут уж все убедились — так стрелять мог только Штефан Вавринец, знаменитый разбойник.

Вплоть до последней войны этот погнутый флорин показывали всем желающим в поланской церкви. Иван Шитко отлично помнит. Во время войны босняки украли флорин, а может, венгерские гусары или даже кто-нибудь из поланских кре-

стьян! Но до сих пор люди говорят: «Да, это всё равно, что выстрел по флорину!» Даже те, кто и не слыхивал про Вавринца, нередко поминали этот флорин, — взять хотя бы немца — полицейского офицера, с черепом на шлеме, — на которого напоролся нынче утром Иван Шипко, когда шёл через перевал. И от воспоминания об этой встрече у Ивана снова сжималось сердце, словно кто-то его туго перетянул... И как такая штука могла приключиться с ним — наскочить на чёрнорубашечника! Вот что бывает, когда разленишься да идёшь по большой дороге, а не тропками. Ну, на этот раз дело обошлось благополучно. Человек с черепом на шлеме после краткого внушения отпустил Ивана.

— Конечно! — прорычал офицер и заговорил отрывисто и грубо на каком-то ломаном словацком языке. — Видом не видал, слыхом не слыхал, ничего не знает, ничего! Ну-ка, проваливай отсюда подобра-поздорову, старый хрыч, пока я не передумал. В самом деле, давно пора разделаться со всей вашей бандой, но вы даже выстрела по флорину не стоите!

Когда Иван Шипко повторил вполголоса слова офицера-эсэсовца, черты его обветренного лица сохранили своё спокойствие и неподвижность, только широко раскрытые серые глаза сурово блеснули.

— Даже выстрела по флорину не стоим, — прошептал он. — Много ты понимаешь, хлюст... Подожди... подожди... увидишь.

Он упёрся крутым подбородком в грудь и задумался.

Прошло немало времени, пока он, наконец, очнулся не то от своих дум, не то от забывтья. Полная ярко-белая луна всходила на фиолетовом ноч-

ном небе и заливала леса и горы дремотным светом. Потянуло сыростью. Иван крепче запахнул овчинный полушубок и опять вынул фляжку. Но тотчас же опустил её. Его взгляд упал на собаку.

— Что случилось, Набат?

Собака, которая спала, свернувшись у его ног, вдруг вскочила. Она повернула морду к долине, вытянула шею и, насторожившись, нюхала воздух. Затем залаяла, отрывисто и глухо. Иван Шипко наклонился и взглянул в том же направлении. Его рука машинально потянулась к заднему карману брюк, проверить, здесь ли нож.

Долина была затоплена мягким серебристо-молочным светом «цыганского солнца», как называли здесь луну. Очертания предметов странно мерцали и расплывались. У Ивана Шипко были пастушьи глаза, он видел в темноте, как кошка; но даже ему понадобилось некоторое время, чтобы рассмотреть зыбкую тень — тень человека, медленно приближавшегося справа по нижней проезжей дороге.

Человек, видимо, очень устал. Он шёл ссутулившись, волоча ноги, его руки бессильно висели вдоль тела, и его шаркающие шаги были слышны издалека.

На перекрёстке незнакомец остановился и посмотрел вокруг недоумевающим взглядом, потом пожал плечами и свернул на тропинку, которая вела в гору. Он, не отрываясь, смотрел себе под ноги и заметил Ивана, только когда поравнялся с ним. От неожиданности он попятился и сделал движение руками, словно хотел защититься от удара.

Собака прижала уши и заворчала, негромко, с глухой угрозой. Иван погладил её по голове.

— Набат! Смирно!

Тем временем незнакомец овладел собой. Он слегка приподнял руку — жестом, который мог быть и просто приветствием и салютом «хейль Гитлер», затем спросил:

— Скажите, это дорога на Растоки?

Иван Шитко не спешил с ответом. Он стоял, склонив голову, прислушиваясь к ещё звучащим в его ушах словам. «Словак,—решил он наконец.— Только не здешний и не из деревни. Настоящий словак, без подделки... От матери словачки...» Впрочем, разве у гвардейцев Глинки матери не словачки?

Иван Шитко поднял голову и внимательно посмотрел на незнакомца. Безбородое, бронзовое от загара юношеское лицо, со светлой чертой бровей и едва зажившим глубоким шрамом на переносице. Рубашка без воротника, тёмный костюм, кожаные полуботинки,— всё залепленное грязью и поношенное, но особого покроя, городского.

Под испытующим взглядом старика незнакомец смутился. Он полез в карман пиджака и зашуршал бумагой. Что такое? Деньги? Иван Шитко строго посмотрел на него.

— Нет, — ответил он наконец, — Растоки — вон в ту сторону.

— А далеко?

— Да часов десять ходу будет.

— Часов десять? — воскликнул незнакомец. Голос его вдруг сорвался. Глаза у него были тусклые и воспалённые, они казались гораздо старше, чем лицо. — Десять часов! — повторил он.

— Да, да, не меньше десяти часов, и то, если наддашь. И всё горюю, а под конец дорога идёт вот так, — и он согнул руку почти под прямым углом.

— Нет, мне не дойти, — сказал незнакомец. Он вдруг покачнулся, словно почва ушла у него из-под ног, и поспешно сел наземь. — Устал я, — заметил он, улыбаясь, — и не ел почти ничего... — Он снова полез в карман и опять зашуршал бумагой. — Что-то нехорошо мне...

Иван кивнул.

— Голод, что хворь.

И он протянул незнакомцу свою флягу. Тот поблагодарил и торопливо хлебнул, но поперхнулся и закашлялся.

— Отвык... — виновато сознался он. — Да ещё на пустой желудок... — Он улыбнулся. — Водка ставит кабатчика на ноги, а пьянчугу вверх ногами... А вот это здорово... — И он потянулся за сыром и хлебом, которые вытащил Иван. Но он слишком жадно набросился на еду и опять подавился. — Дело в том... — прерывисто заговорил он, — что я был... я иду из лагеря в Свияже, из концлагеря. — Он нерешительно посмотрел на старика, на его неподвижное, словно изваянное лицо, и поспешно продолжал: — Но вы не бойтесь... меня освободили, по всем правилам. — Он полез в карман и, наконец, вытащил бумажку. — Вот свидетельство об освобождении, с подписью и печатью, всё как полагается. — Он замолчал, ожидая, не проронит ли Иван хоть слово, но старик безмолвствовал, и молодой человек заговорил снова: — За последние дни привезли столько народу, что места нехватало, ну, и мне повезло. — Он опять засмеялся странным смехом, словно горло его было из надтреснутого стекла. — Да и невоготу уж было. Я просидел почти год — одиннадцать месяцев и пять дней. После такого срока от человека ничего не остаётся. — Он собрал последние крошки в ладонь и облизал её. Затем снова засмеялся, но уже спокойнее и естественнее. — Первое время мне надо перебыть где-нибудь. Дома слишком хорошо меня знают. Вот почему я и решил идти в Растоки. Там живёт двоюродный брат моей матери, Яника, Штефан Яника.

— Яника-хромой?

— Не знаю. Я его никогда не видал. А вы... ^{воим} знаете его?

— Есть в Растоках такой человек... по фамилии Яника, хромой... Все его знают, — осторожно отозвался Шипко. Сквозь опущенные веки он недоверчиво рассматривал юношу.

Словно почувствовав эту недоверчивость, незнакомец сказал:

— Я понимаю, для вас я неведомо кто. Откуда вам знать, что я за человек. Что ж, спасибо, мне больше ничего не надо. Вы и так уж были слишком добры ко мне... вот накормили меня... Да, слишком добры.

Он встал.

Иван Шипко движением руки остановил его.

— Куда же ты теперь пойдёшь? Срываться с места, когда только что поел, не годится, сейчас же опять брюхо пищи запросит. А кроме того — нам по дороге. Ляг да поспи часок. Тебе полезно будет. А я потом разбужу тебя.

Он пододвинул себе камень под голову и указал юноше на другой. Молодой человек был в нерешительности, но кончил тем, что улёгся рядом с Иваном.

— Моя фамилия Новоместский — сказал он. — Пётр Новоместский из Кремниц. Я был студентом, а потом они закрыли университет, и... — Он заснул на полуслове. До Ивана Шипко донеслось его глубокое, ровное дыхание. Старик взглянул на луну, она побледнела, поднялась выше и стояла уже над лесами; теперь все леса были, как синие тучи. Ветер переменялся и дул с равнин — дождевой ветер.

Иван Шипко неслышно сел и наклонился над спящим. Долго и пытливо всматривался он в это лицо, в очертания юношеского рта, ввалившихся глаз, прикрытых синеватыми веками, в глубокий шрам. Вдруг молодой человек застонал, его губы дрогнули, точно от страха или тревоги, потом он

снова затих и улыбнулся. Теперь он казался совсем мальчиком.

Иван Шипко снял полушубок, придвинулся к спавшему и укрыл себя и его косматым мехом.

2. ЗЕРНО В ЗЕМЛЕ

Стоял ясный, синий с золотом осенний день, полный благоуханий позднего сена и сохнущего тмина. В воздухе легко проплывали серебристые нити паутинок. На фоне скученных серо-белых облаков, предвестников дождей и бурь, скользили чётко очерченным строем стаи перелётных птиц. Вдоль изгородей рдели, как бусы, ягоды шиповника.

Дорога шла то в гору, то под гору, пересекала ручьи, следовала всем изгибам почвы, спускавшейся длинными волнами на юго-запад, к туманной полосе горизонта, где чуть намечалась сизая горная цепь, выступая воздушным рисунком на бледно-сиреневом небе. Там, за этой грядою, катил свои воды Дунай, врезаюсь жизнедарящим потоком в чёрную плоть земли—в этот край пшеницы и винограда.

Здесь, наверху, земля была светлее и суше. Щепень, пастбища, мелкий кустарник; каменистая земля, тощая, чем-то напоминавшая трогательную грубоватую кротость мозолистой руки.

На жнивье работали женщины и дети, кое-где — старики, но не видно было ни одного молодого мужчины. В плуги была запряжена скотина — бык или корова. На скошенных жёлтых лугах беспорядочно торчали редкие копны.

— Бабья работа, — заметил Иван Шипко, указывая на жалкие копёнки. — Мужская рука требуется...

Наконец-то Шипко заговорил первый со своим

спутником. Он разбудил молодого человека на рассвете, и они тут же двинулись в путь. Иван опасался, как бы Пётр Новоместский не стал приставать к нему с расспросами о том да о сём. Однако юноша ничего не спрашивал, даже о людях в Растоках. Один только раз он спросил, как называется горная речка, а потом — какой-то жёлтый цветок, — и всё. Зато он много рассказывал о себе — о своём детстве в деревне, о том, как тосковал по ней в городе, куда перевели его отца-учителя; об отце, который повесился, когда важные господа продали родину Гитлеру; о матери, раздавшей всем детям по куску верёвки, чтобы они запомнили навсегда, отчего покончил с собой их отец; и, в заключение, о хилом розовом кустике в концентрационном лагере, который нежно любили все заключённые, и поэтому начальство приказало его вырвать с корнем. Пётр говорил торопливо, захлёбываясь, как человек, с которого только что свалилась огромная тяжесть, — он и поверить боится, и старается поскорее забыть о ней, и рассказывает что попало.

Иван Шипко спокойно шёл рядом с ним лёгким и уверенным шагом горца, и только светлые глаза на обветренном, неподвижном лице выдавали его мысли и чувства. Правда, взгляд этих глаз стал мягче, а раз они просто-напросто засмеялись. Путники в это время отдыхали под широколистным клёном.

— Когда я был мальчишкой, ещё в деревне, — говорил Пётр, — дедушка каждый вечер играл на свирели песню про клён.

Тогда Иван Шипко полез в свою сумку и достал свирель и тоже заиграл одну из тех весёлых и вместе с тем грустных песен, которые играют странствующие ремесленники на чужбине, когда они вспоминают свою родную Слсвакию, танцующих

девушек в широких платьях с белыми пышными рукавами или серых куропаток, летящих над цветущими горными лугами.

— Бабья работа! — повторил Иван Шипко. — Земля требует мужских рук, а мужчин нету...

— Куда же все мужчины подевались? Всех ведь не могли засадить в лагеря?

Пётр размышлял вслух. Старик ответил:

— Всех не могли.

— Так где же они? В рабочих батальонах?

— Да, и там тоже. Теперь всё больше народу отправляют в Австрию, в Неметчину, во Францию, в Италию и один чорт знает куда. Всё мало. Чем больше жрёт война, тем голодней у неё брюхо. А потом — не забудь, сколько новых заводов построили, тоже рабочие руки нужны. Сейчас вот построили один в Березне, весь под землёй, из-за бомб. На место одного мужчины ставят трёх женщин, в мужчинах ведь нехватка, особенно теперь, когда...

Иван Шипко вдруг замолчал. Не замедляя шага, он достал трубку, набил и стал раскуривать.

Пётр остановился.

— А остальные? — спросил он. — Куда же девались остальные? Я хочу сказать: ведь есть же такие, которые и не в лагерях, и не в рабочих батальонах, и не на заводах. Или все они... в земле?

Иван Шипко тоже остановился.

— Нет, не все в земле, — протянул он многозначительно; он сделал длинную затяжку, выпустил дым кольцами. — Вспомни-ка зелёные отряды в последнюю войну, — сказал он вдруг. И, не ожидая ответа, продолжал: — Впрочем, откуда же тебе помнить, тебя ещё и на свете-то не было. Но, может быть, ты слышал про них, про дезертиров, ко-

торые ушли в горы? Сначала их была горсточка и жили они, как затравленные волки, а потом — всё больше и больше стало приходить к ним народу, и, под конец у них было больше силы, чем у генерала там в Мукачеве и у окружного начальника... Да... так вот опять завелись в горах такие люди, только они не зовутся зелёными, и они не просто дезертиры.

Старик умолк. С той же недоверчивостью, что и вчера вечером при первой встрече, он посмотрел на Петра. Затем резким движением выбил золу из трубки и зашагал дальше.

Оба молчали. Глаза Ивана Шипко были устремлены куда-то вдаль, а Петру и в голову не приходило выпытывать, что за люди скрываются в горах и чего они хотят. Ему, наоборот, казалось, что он и так зашёл дальше, чем следовало, со своими расспросами. Разве он, по выходе из лагеря, не принял твёрдого решения быть тише воды ниже травы, остерегаться всего, так или иначе связанного с прошлым, держаться в стороне, уйти в себя, как улитка, — и жить, просто жить, дать себе передышку, быть человеком — только человеком после долгих месяцев унижительного нечеловеческого существования?

Трусость? Ах, разве он ещё не достаточно доказал, что он не трус? Разве не рисковал жизнью? Свою лепту в общее дело он внёс. Пусть теперь поработают другие. Он заслужил этот маленький отдых.

Шрам над переносицей снова зачесался, — этот шрам остался у него после попытки к самоубийству, когда он просидел двадцать дней в одиночке — тёмной конуре, такой тесной, что нельзя было вытянуться, — отравленный зловонием собственных экскрементов, истерзанный гложащим голодом.

Пётр порывисто сунул руку в карман. Тут! Свидетельство из лагеря успокоительно зашуршало

между пальцами. Он улыбнулся, но это была какая-то чужая улыбка, и он чувствовал, что она стягивает ему лицо и лежит на нём, как пенка на молоке.

Близился полдень. Толстые лиственницы вдоль дороги подбирали свою тень, как утомлённые ослы подбирают хвост под ударами кнута. Солнце пекло совсем по-летнему. Шипко кивком подозвал Петра, который плёлся позади. Пётр прибавил шаг. Тропинка начала спускаться. Перед их глазами раскинулась широкая долина. Крыши домов ржавого и грязно-жёлтого цвета казались сверху шапками огромных грибов.

— Зайдём туда, авось раздобудем чего-нибудь пожевать, — сказал старик.

— В деревню? — недоверчиво спросил Пётр. Кажалось, он хотел что-то добавить, но удержался и сказал только, пожав плечами:— Не знаю, право...

Иван склонил голову набок.

— Тебе-то что... у тебя свидетельство!

Пётр растерянно посмотрел на него. А Шипко продолжал:

— Особенно обнюхивать нас не станут. Деревня-то очень далеко от главной дороги. Надежды, конечно, мало, а пожевать-то всё-таки надо. У меня вот в сумке хоть шаром покати, ни крохи не осталось.

Деревня казалась безлюдной. Только несколько полуголых ребятишек играло на улице и с визгом разбежалось при виде Набата.

Трактир помещался в доме сельского управления. Из слухового окна висели два флага, один словацкий, другой со свастикой. Оба вылинявшие и в пятнах. Доска для объявлений была залеплена обрывками бюллетеней. В глаза бросились вызывающие слова: «Приказ», «Воспрещается» и обилие

— Брехня, — прорычал трактирщик. — Где это видано? Хорошенькое дело, нечего сказать.

— А я говорю, — продолжал настаивать Иван, — по закону это...

Трактирщик грубо накинулся на него:

— Закон? А хочешь я тебе покажу закон? Что я говорю — то для тебя и закон. Я здесь хозяин, и я бургомистр.

Он хлопнул себя ладонью по фуражке, сдвинул её на лоб и обвёл вызывающим взглядом всех присутствующих. Глаза у него были выпученные, мутные, водянисто-голубые — рыбы глаза. Никто не возражал ему, и он заговорил спокойнее.

— Далек идёшь? — обратился он к Ивану.

Иван показал на полный короб.

— Вот, торгую...

— Ага, значит, с границы, да? И тащишь с собой контрабанду? Ладно, ладно, старый плут, не заливай мне. Ни одного гостя с гор нет, чтобы не припрятал где-нибудь табачишки. У вас там с контрабандистами одна лавочка... Выкладывай-ка травку! Я мог бы просто конфисковать твой табак, но я не такой бессовестный. Я умею смотреть сквозь пальцы. Живи и давай жить другим. Ха-ха! Так я беру у тебя весь табак и даю за него свиной окорок и хлеба столько, что ты нажрёшься на два дня. Ну, что скажешь?

— А что мне говорить? Нет у меня табаку.

— Та-ак! У тебя табаку нет? Хорошо... Ну и иди, ищи себе еду в другом месте. А от меня ни шиша не получишь! Для бродяг у меня ничего нет... Понятно?

Хозяин сипел от злости. Жилы на его громадных лапищах вздулись.

Шилко был попрежнему спокоен:

— Что ж? Так, так так.

Он встал и взялся за ляжки короба.

Но хозяин остановил его:

— Стоп! Не тронь короб.

— А почему? — Иван говорил очень тихо, обветренные губы едва шевелились, только глаза сверкали. — Короб мой!

— Это мы ещё посмотрим. Руки вверх! Сначала мы его подвергнем официальному осмотру. — Он загоготал. — А ты и в самом деле вообразил, что я покупаю краденое? Нет, дорогой, ты не знаешь нас... Катись отсюда.

Иван не ответил. Он придвинул к себе короб и намотал на руку лямки.

Хозяин затопал ногами:

— Брось сейчас же! Дай сюда... именем закона!

— Это мой короб и закон тут ни при чём.

— Ах та-ак! — хозяин угрожающе поднял ладонь.

Но что-то в этом старике — то, как он стоял перед ним, невозмутимо, почти равнодушно, — остановило хозяина.

Иван, не обращая на него никакого внимания, обернулся к Петру и ободряюще кивнул ему. А Петра терзали в эту минуту самые противоречивые ощущения. Он чувствовал, как в нём закипает гнев и душной волной приливает к вискам. Он впился ногтями в ладони. Пётр знал, что бросится на трактирщика, если тот осмелится поднять руку на Ивана; и вместе с тем знал, что такой порыв только повредит старику, не говоря уже о печальных последствиях для него самого. Он проклинал ту минуту, когда согласился идти вместе с Иваном в Растоки. Нет, видно, в этом бурном мире не найти ему ни отдыха, ни покоя.

Вероятно, Иван догадался об его внутренней борьбе — молнией пронеслась мысль в сознании юноши. Иначе, почему бы он кивнул ему? И кто же, наконец, этот странный старик?

Его привёл в себя клокочущий яростью голос хозяина:

— Что-о-о?.. — Мутные глаза трактирщика буквально вылезали из орбит. Адамово яблоко перекатывалось. Мирные складки на шее стали сине-багровыми, словно гребень индюка, налившегося злобой. — Что-о... ты сказал?

— Ничего. — Иван провёл ладонью, точно отсекая что-то. — Дайте мне уйти. Я никого не задирал. Мне ничего от вас не нужно.

— Ах, не нужно? Ну, а все-таки получи!

И хозяин вдруг занёс и обрушил на старика свой страшный кулак. Иван отклонился, но недостаточно быстро. Костяшками пальцев хозяин задел его по виску, и разносчик пошатнулся. Но мгновенно выпрямился и оттолкнул Петра, который ринулся на хозяина.

— Брось. Не стоит. Какая польза раздавить одного клопа, когда весь тюфяк кишмя-кишит ими? Тюфяк надо сжечь, и, ах, как он будет гореть... да...

С ловкостью и силой, которые трудно было ожидать от такого старика, он перекинул на спину свой короб и направился к двери:

— Пошли!

Хозяин, наконец, обрёл голос:

— Хальт! — Он бросился вслед уходившим. — Вы аресто...

И вдруг умолк на полуслове. В дальнем конце комнаты неожиданно раздался грохот. Однорукий крестьянский парень вскочил на ноги, опрокинув стул. В левой руке он сжимал разбитый стакан из-под водки. Вероятно, он раздавил его, так как с пальцев у него капала кровь. Посеревшее лицо исказила судорога. Он стоял выпрямившись, застыв в сверхчеловеческом напряжении. И только его пустой рукав казался жутко живым, мотаясь взад и

вперёд, словно маятник. Несколько мгновений прошло в гробовом молчании. Затем однорукий с невероятным усилием заговорил. Он словно выдавливал слова сквозь стиснутые зубы.

— Не тронь их! Слышишь!

Как бы не расслышав, хозяин поднёс ладонь к уху. Но вдруг заревел:

— А ты с кем говоришь, негодяй? Как ты смеешь? Да ты знаешь, что я могу с тобой сделать, лодырь?

Хрипя, вытянув шею, он свирепо смотрел на однорукого. Резким движением тот стряхнул с себя своих собутыльников, пытавшихся удержать его, вылез из-за стола и пошёл на хозяина. Его правая нога при каждом шаге издавала деревянный звук: он был калека.

— Ну а что ты можешь со мной сделать? — спросил он, приблизившись вплотную к хозяину, так что они в конце концов чуть не столкнулись лбами. Хозяин попятился и, видимо, уже сам не рад был, но калека не унимался:—Ну так что же ты можешь сделать со мной, а? Думаешь, запугал? Ни вот столечко! Такие, как я, давно забыли, что такое страх, заруби это себе на носу... Что ещё ты можешь со мной сделать? Руку у меня взял твой фюрер и ногу тоже. Чего ещё брать-то? А желаешь — попробуй! Забирай всё, что осталось! — И он язвительно и горько засмеялся. — Одним лодырем меньше будет. Ловко придумали. Да, да, верно говорю. Я ведь лодырь. А вот попробуй-ка, паши с одной рукой да одной ногой, а тут ещё корову реквизируют — вашему фюреру, видишь, нечем своих солдат кормить, так пусть выжрут всё из наших хлебов да амбаров. Скотину бургомистра, небось, не тронули, до сих пор целёхонька. И лодырничать бургомистрам тоже недосуг. Разрази меня бог, недосуг. У них дела по горло... То сажай в

лагерь бедняка, — зачем голову свернул цыплёнку, — а сами свиной колуют... То списки составляй на то, чего ещё не отняли, а то лови разносчиков да контрабандистов... Тоже выгода... Но всякому терпению конец приходит... Чаша переполнится, и тогда будет у вас, да, у вас, вопль и скрежет зубовный, и друг друга пожрёте, и не будет вам спасения, ибо не спасётся никто. А теперь делай со мной, что твоей душе угодно!

Наступила тишина. Он ждал. Ответа? Взрыва? Ничего не последовало. Хозяин стоял молча, оторопев. Калека неловко повернулся и, громыхая деревянной ногой, заковылял прочь. Кровь капала с его руки и оставляла узкую алую дорожку на белом песке, которым был посыпан пол. Всё глуше раздавался деревянный стук его ноги, пока не стих совсем.

Хозяин, наконец, опомнился. Он трясущимися руками налил себе стакан водки, залпом выпил, икнул. Его мутные глаза остановились на двух стариках, сидевших с одноруким.

— А вы чего тут торчите? — напустился он на них. — Пошли вон, бродяги!

Старики медленно вышли.

Хозяин, бормоча ругательства, налил себе ещё стакан и, продолжая сыпать проклятиями, вышел в маленькую дверь за стойкой.

Когда Иван и Пётр вскоре после этого снова очутились на шоссе, один из стариков стоял перед доской со сводками верховного командования. В руках он держал кусок бумаги, видимо только что отодранный от сводки. Старик вздрогнул, но, узнав их, подмигнул с хитрым и виноватым видом:

— Курнуть охота... Бумаги нет, а трубку держать нечем, — и он раскрыл свой беззубый рот. — Бери, где можешь. Да и печатают в них всё одно

и то же, — добавил он, указывая на сообщения, наклепленные друг на друга. — Все победы да победы, как в прошлую войну. Тогда тоже было столько побед, что не продохнёшь. — Он захихикал, но вдруг со страхом оглянулся и поплёлся прочь.

Из трактира выбежала хозяйка и ещё издали закричала Ивану: — Пстой! Пстой! — Лицо у неё было расстроенное, и голос звучал испуганно, словно за ней кто-то гнался.

— Натe, вот вам! — Она вытащила из-под фартука полкаравая хлеба и большой ломоть ветчины. — Только не ешьте на глазах у всей деревни и помалкивайте.

Она сунула ветчину Ивану, а хлеб Петру и исчезла, не дав им опомниться.

Пётр ошеломлённый смотрел ей вслед.

Иван подтолкнул его локтем: — Прибавь ходу, поедим за деревней.

Они зашагали быстрее. Иван Шипко отломил ивовый прут и размахивал им.

— Да, год назад, — начал он, словно отвечая на безмолвный вопрос своего спутника, — было по-иному. Многие были по-иному, да ты сам убедишься, когда хорошенько присмотришься. — Он замолчал. Пройдя несколько шагов, он заговорил опять, но уже обращаясь скорее к самому себе, чем к Петру: — Для всего время нужно. Даже хлебному зерну, и тому нужно время, чтобы прорасти. Снегом заносит его, бури шумят над ним, и вот... гляди — оно, наконец, даёт росток... Да, только посеять его кто-то всё-таки должен... все мы должны сажать и сеять... — И он сделал широкое движение рукой, словно разбрасывая по всей стране незримые семена.

3. ГНЕЗДО АИСТА

Когда Иван и Пётр завидели, наконец, Ростоки, сумерки уже окутывали синие сосновые леса, одевавшие горные пики, которые стояли, как стража, вокруг деревни.

У первого же дома старик протиснулся со своим спутником:

— Мне сюда, — сказал он. — А ты иди всё прямо. Штефан Яника живёт на том конце деревни. Его дом как раз над прудом, а вот тебе и примета: на крыше аист гнездо свил. Я завтрашний день пробуду здесь. Мы ещё увидимся.

И он скрылся в тёмном и узком проулочке между двумя амбарами.

Пётр без труда нашёл дом Яники. Это было длинное и грузное строение из поседевшего дерева. На крутом коньке крыши примостилось гнездо, похожее на пёструю хлебницу. За ригой несколько сосен вздымали треугольные косматые вершины в бледневшее вечернее небо.

В сенях было темно, хоть глаз выколи. Пётр пробирался ощупью, держась за стену. Загремела шайка, которую он задел. В доме ничто не шелохнулось. Постепенно глаза юноши свыклись с темнотой, и он разглядел дверь. Пётр постучал, прислушался, никто не отзывался. Он открыл дверь и очутился в просторной жилой горнице-кухне.

Кухня была пуста. Шелковистый песок, покрывавший только что выскобленный пол, скрипел под ногами. Оконные задвижки блестели, как новенькие медные монеты. Начищенные сковороды сияли, как вода на солнце.

«Какая чистота! Верно, гостей ждут», — мельк-

нуло в голове Петра. И в этой мысли было что-то ободряющее и вместе с тем тревожное.

Из огромной печи с большой лежанкой доносился соблазнительный запах. Лицо Петра озарилось детской улыбкой. Бобовый суп! «Бобовый суп должен быть такой густой, чтобы ложка стояла», — говорил его дед. И волнующие воспоминания детства неудержимо нахлынули на него.

Пётр внимательно оглядел комнату. Вон возле печи такая же, как у деда, скамейка, натёртая до блеска сменявшимися друг друга поколениями. Такие же кованые сундуки, такие же деревянные миски и расписные тарелки на полках, и такая же закопчённая мадонна в переднем углу. Да, а в простенке между окон висели семейные фотографии, в том же роде, что и у бабушки, — расфранченные женщины с нафабранными усами и полногрудые девушки в старинном крестьянском свадебном наряде.

Ему захотелось рассмотреть снимки поближе. Их было пять. Один уже пожелтел от времени. На нём была изображена молодая женщина в подвенечном платье, но бородатый мужчина рядом с ней, вместо традиционной свадебной куртки с серебряными пуговицами, был одет в походную форму старой австрийской армии. На руках он держал, словно ребёнка, оболочку артиллерийского снаряда с надписью «1917». Более поздний вариант того же мужчины, уже не в мундире, а в комбинезоне и широкополой шляпе-ковбойке смотрел на Петра с третьей карточки. В уголке можно было прочесть: «Пенсильвания, США, 1927». Рядом висела карточка молодого человека, вероятно, сына бородатого. Смелое лицо с лёгким оттенком грусти. Рамка была обтянута крепом. И, наконец, карточка крестьянской девушки. Лицо кроткое и решительное, типичное для женщин Восточной Словакии: нежный овал, чуть выступающие скулы, широкий

лоб, простодушный и задумчивый, губы, изогнутые, как крылья ласточки, большие ясные глаза, живые и мечтательные. Весь облик девушки был полон скромной прелести, — как весенний день в Словакии — с его солнцем, радующим и пьянящим подобно молодому вину, с его тёплыми дождями, стремительным горным ветром и белыми пятнами стройных берёз где-нибудь на берегу ручья, протекающего среди благоухающей тмином поляны.

Сумерки сгущались. Пётр снял с гвоздя карточку девушки и подошёл к окну. Этот девичий облик вдруг снова пробудил в нём то мучительное желание, которое так томило их всех, когда полная луна стояла над лагерной сторожевой башней, желание быть на свободе... на свободе... и наедине с возлюбленной.

Лёгкий шорох за его спиной заставил его обернуться. Вошёл мальчик и, не замечая его, направился к столу. Он прижимал к груди большой кувшин с охалкой ярких цветов и, склоняясь над ними, словно впивал их аромат. Пётр не мог рассмотреть его лица.

Мальчик начал перебирать цветы в кувшине. Он несколько раз прерывал своё занятие, чтобы посмотреть, как у него выходит. Наконец он, видимо, был удовлетворён. Отойдя от стола, чтобы издали полюбоваться на букет, он вдруг увидел Петра, вздрогнул и испуганно отскочил. Пламя печи осветило его лицо — впалые жёлтые щёки, заячью губу, воспалённые глаза. Куртка на его груди пузырилась. Это был не мальчик, а взрослый мужчина-горбун.

— Скажите, здесь живёт Яника? — спросил Пётр после короткого удивлённого молчания.

Горбун судорожно повёл губами, но не издал ни

звуча. Его взгляд упал на снимок, который держал Пётр. На лице его изобразился ужас, он протянул руки к карточке, с его уст сорвался хриплый, полузадушенный вскрик.

— Я его земляк, видите ли, — сказал Пётр, словно извиняясь. Однако выражение беспомощного ужаса не покидало искажившихся черт горбуна. И только когда Пётр, следуя внезапной догадке, повесил снимок на гвоздь, лицо горбуна выразило облегчение. Он показал на свой рот и на уши, поясняя жестами, что он глухонемой. Пошарив в карманах куртки, он извлёк кусок угля и что-то написал на ладони левой руки, затем протянул её Петру.

— Юло, — прочёл Пётр. — Вас зовут Юло? — спросил он. Горбун, следивший за движениями его губ, торопливо закивал.

В сенях раздались неровные шаги. Сквозь дверную щель просочился свет. Волоча ногу, в кухню вошёл заросший бородою человек в овчинной куртке и холщёвых штанах.

Он удивлённо остановился, поднял фонарь, который держал в руке, и направил свет на Петра.

— Ведь вы Штефан Яника? — поспешно спросил Пётр. И так как ответа не последовало, продолжал: — А я сын Марии Новоместской из Кремниц. Моя мать, вероятно, писала вам. Я дал ей знать, что хотел бы побыть здесь, когда меня... когда я выйду.

— Да, писала, — бородач говорил на певучем словацком наречии. — Она спрашивала, можем мы тебя взять к себе на время или нет. Ну, я не знаю... нам, правда, нужен второй работник, и тебя, верно, научили работать там, где ты был. Конечно, настоящие крестьянские руки покрепче будут... и потом,

как ещё взглянет начальство. Так ты вот что, ты договорись с дочкой.

Он заковылял к висячей керосиновой лампе, вынул огарок из фонаря и зажёл её. Лампа стала чадить. Бормоча что-то, хромой достал нож и подравнял фитиль. Затем вышел через боковую дверь. Было слышно, как он, всё ещё бормоча и охая, снимал в соседней комнате башмаки, потом начал звякать какими-то инструментами.

Пётр приуныл. Ему стало ещё больше не по себе, когда, обернувшись к горбуну, он увидел, что тот снова чем-то поражён, покачивает головой и смотрит куда-то отсутствующим взглядом. Но вдруг скорченное тело горбуна замерло в неподвижности, глаза засияли, как у ребёнка; расцветшая на губах улыбка странно преобразила его черты и распрямила их, они стали почти красивыми.

Следуя за взглядом Юло, Пётр тоже обернулся к двери. И только сейчас услышал лёгкую поступь женщины. Видимо, глухонемой почуял её приближение каким-то шестым чувством.

Горбун, издавая странные воркующие звуки, подбежал к двери. «Точно преданный пёс, слышавший шаги хозяина», — подумал Пётр. И вдруг без всякой видимой причины сердце его горячо забилось. Он смущённо отвёл глаза.

Но женщина уже стояла посреди кухни.

Она сняла платок. Тяжёлые косы обвивали её голову. Косы были бронзового цвета, как листья берёзы в сентябре. Глаза — суровее, чем на карточке; казалось, они затенены скорбью. Щеки — худее. В уголках нежного рта тоже залегла печаль.

«Точно у усталой жницы, — мелькнуло в голове Петра. — У жницы на каменистом поле».

Тем временем женщина сказала что-то горбуну. И Юло, видимо, понял. Он вспыхнул, точно застенчивый ребёнок, которого похвалили.

У женщины был глубокий грудной голос, чуть хриплый. Словно бронзовый колокол с крохотной трещинкой. Пётр всё ещё вслушивался в звуки этого голоса и только теперь заметил, что она обращается уже не к горбуну, а к нему, Петру.

— А-а, вот и вы! Садитесь!

Уголком фартука она вытерла стул. Старинный, привычный жест крестьянки-домохозяйки, но Петру он показался совершенно новым, единственным, предназначенным только для него.

Он пробормотал спасибо и сел.

— Вы знали, наверно... вы...

— Я — Анна, — сказала женщина. Она села против Петра и стала смотреть ему прямо в глаза, словно читала в них. Он почувствовал, как шрам на лбу начал гореть, и провёл рукой над бровями. «Хорошее лицо, — решила женщина, — надёжное. В лагере, что ли, получил эту отметину?» Её голос едва уловимо дрогнул, когда она продолжала:

— Я сноха Яники. Я уже повидала Шитко сейчас вот в деревне. Он и сказал мне, что вы к нам пошли. Ваша мать прислала письмо, что вы сюда собираетесь. Только ведь никогда не скажешь, выпустят они человека на самом деле или это только разговор один. Но мы всё-таки ждали вас и...

Она чуть было не рассказала ему, что собирала справки о нём, о том, что он делал до ареста, как вёл себя в лагере и что отзывы она получила хорошие, что здесь его ждёт работа, работа для «дела», — но в последнюю минуту удержалась. В конце концов она его совсем не знает. Правда, лицо у него славное, и он был в лагере, но именно поэтому-то и необходима осторожность, выдержка, зоркость.

— Как всё это тяжело, однако.

Она не кончила и вдруг спросила:

— Ну а теперь что вы думаете делать?

В её словах была какая-то скрытая трепетная интонация, какой-то отзвук, — но только чего? Пётр не понимал. Нерешительно он ответил:

— У меня нет никакого определённого плана. Я просто собирался побыть здесь хоть некоторое время. Помогу вам в поле. — В его сознании мелькнуло: а может быть, она боится, что они сюда придут за мной. Он полез в карман. — Вы не думайте... у меня есть свидетельство об освобождении... — Он увидел её досаду и прикусил губу. Стыд за то, что он не понял Анны, горячо обжёг его. Но зато плотина была прорвана. — Может быть, вам трудно понять, но когда пройдёшь через это, то есть через лагерь и всё... хочется только жить... просто. — Её глаза затуманились, и их взгляд, минуя Петра, остановился на обтянутой крепом карточке. Как он мог забыть об этом! Нет, невозможно оставаться здесь! Но в это время Анна прошептала:

— Я понимаю. Я очень хорошо понимаю...

Она сидела, подперев голову рукой. Теперь её рука упала, голова поникла, губы задрожали. Петру хотелось погладить её руку.

Анна потряхнула головой.

— Нет, — сказала она. Её золотистые глаза изменили свой цвет, они стали суровыми и напоминали теперь непрозрачный тёмный янтарь. — Я не забуду. Нет, не хочу, не могу. — Резким движением она поднялась. Не хотела продолжать, но слова вырвались у неё против воли. — Знаете, что они сделали с ним? — она едва уловимым движением указала на карточку в траурной рамке. — Они... они... раздавили ему... половые органы... у живого... Между дверью и косяком. — Петру казалось, что она выкрикнула это, хотя в действи-

тельности последние слова она произнесла едва слышно.

— Анна, — он хотел сказать ей что-нибудь в утешение, но ничего не мог придумать. — Анна, зачем вы мучаете себя?..

— Это больше, чем мука, это... Они хотели заставить его дать показания, но он выдержал, он оказался сильнее... Он только плевал им в глаза... даже в последние минуты.

Гнетущее молчание было прервано какими-то глухими, почти нечеловеческими звуками. Это плакал горбун.

Анна выпустила уголок фартука, который она намотала вокруг пальцев, и погладила жёсткие волосы горбуна.

— Перестань, Юло. Ведь не вернёшь. Иди помоги мне накрыть на стол. Пора ужинать.

Горбун сейчас же затих. Улыбка порхнула по его ещё залитому слезами лицу. Он отёр его рукавом. Потом заковылял к буфету и начал вынимать тарелки и ложки.

Глаза Анны следили за ним.

— Он как-то ухитряется понимать меня, когда я говорю... — пояснила она. — И я тоже понимаю, что он хочет сказать. Он был при том, как убивали его... всё видел... Но не будем больше говорить об этом, не будем трогать прошлое. Давайте есть и отдыхать, вот и всё. Правда, Юло?

Ответом на её слова было странное воркованье. Горбун начал накрывать на стол бесшумно и проворно. Тем временем Анна вышла в сени, задвинула засов на дверях, закрыла ставни. После этого осторожно подняла творило в углу кухни, под изображением мадонны, и вытащила из подполья кусок говядины. Она нарезала мясо, достала из печи ка-

равай хлеба и вылила дымящиеся бобы в глиняную миску.

— Всё у тебя готово? — обратилась она к Юло, затем крикнула: — Отец! Ужинать.

Бородач вышел, шаркая, из соседней комнаты. Он был в жилете и лаптях.

Анна разливала суп.

— Пётр останется здесь, — говорила она, передавая тарелки. — Он может жить в светёлке наверху. Мы потом обо всём с ним уговоримся.

Бородач насупился: — Что ж, тебе виднее. Ты знаешь, что делаешь.

— Да, знаю, — отозвалась Анна. — Он сделал бы то же самое.

Они приступили к еде. Вдруг Анна отодвинула тарелку, встала и ещё раз полезла в подполье в углу комнаты. Она вернулась с бутылкой и предложила тестю налить всем по стаканчику.

— Нет, мне не надо, — отстранила она его руку, когда он протянул ей наполненный стакан. — А вы пейте, все трое, — да, и Юло тоже. — И с виноватой и радостной улыбкой добавила, обращаясь к Петру: — Вы не подумайте, что я ломаюсь... Это хорошая водка, домашняя... Но... я жду ребёнка.

Она взглянула на карточку. Её глаза были полны чистоты и света.

4. ШЕСТЬ УЗЕЛКОВ

Анна медленно поднималась по крутой тропинке, которая вела в Верхний лес. Солнце уже всходило, но его лучи пока только ещё нащупывали кайму лесов на вершинах. В долине клубился белёсый

туман. Над его молочными волнами выступали только высокие коньки нескольких крыш. Казалось, что вся деревня под водой. И вдруг сразу она всплыла на поверхность. Поднялся утренний ветер, разорвал туман, унёс последние клочья. В тот же миг над вершиной горы, как золотой подсолнух, встало солнце.

Анна заслонила глаза рукой. На площади перед сельским управлением стояли два мотоцикла с колясками. Небольшая кучка людей толпилась у двери. Они словно прилипли к ней, напоминая рой мух на разрезанном яблоке.

Скорее всего — новый приказ о реквизиции, а может быть, опять расследование по делу «Малой Варвары» — колокола, таинственно исчезнувшего со своей колокольни за несколько дней до распоряжения об обязательной сдаче металла.

Что ж, пусть суетятся, пусть допрашивают крестьян, обшаривают дома и риги, орут и арестовывают. Это освежает память, подогревает ненависть. Иван Шипко рассказывал, что весть о бегстве «Малой Варвары» распространилась повсюду, вплоть до польских земель, — как этот колокол исчез и присоединился к скрывающимся в горах партизанам, чтобы его не переплавили нацисты.

Пусть обнюхивают! Пусть раздувают затаившееся пламя!

На повороте глазам Анны открылся широкий бурый склон. Обычно в эту пору там всегда копошилось несколько парней из окрестных деревень, добывая глину для обмазки печей на зиму. Но с тех пор как глина была объявлена казённой собственностью и копать её можно было, только имея особое разрешение, днём там никто не показывался. Глину копали тайком, поздней ночью, и сейчас, на

тёмнобуром фоне земли резко выделялись жёлтые пятна только что вырытых ям. Анна заметила, что они образовали огромный крест, аккуратно обведённый бороздой. «Об этом в самом деле следовало бы написать, — подумала Анна. — Да и насчёт «Малой Варвары» тоже — как она убежала в горы, к партизанам. Такой рассказ, наверно, понравится деревне. Надо обязательно предложить, когда будем говорить о газете».

Она вынула носовой платок и взялась за кончик, чтобы завязать на память узелок. На платке уже было пять узелков. Анна невольно улыбнулась. Сколько узелков! Скоро ни платка нехватит, ни памяти. Всё же лучше поломать себе голову над таким узелком, если забыла, отчего он завязан, чем носить при себе какие-нибудь записи. Анна остановилась, чтобы проверить, всё ли она запомнила. что следовало обсудить с товарищем из штаба. Она подняла правую руку и начала считать по пальцам: раз... два... три... четыре... А что такое — пять? — Анна стукнула себя по лбу большим пальцем. на долю которого ничего не досталось. На её лице появилось выражение озабоченной сосредоточенности. Но тотчас же оно просияло. Ах да! Пётр! Как это она сразу не вспомнила?

Она завязала на платке новый узелок и пошла дальше. Тропинка вела среди обугленных пней. Два года назад крестьяне подожгли здесь лес, когда нацисты потребовали, чтобы весь Нижний лес был отдан в дар германской армии. Крестьяне предпочли спалить сосны, чем уступить их нацистам. Сколько народу до сих пор сидит за это в концентрационном лагере! Но почерневший склон всё ещё горел в памяти народа, как незаживающая рана. Да. жгите, жгите!..

Анна дошла до опушки Верхнего леса. Она под-

нималась слишком быстро и теперь присела на поваленное дерево, чтобы перевести дыхание.

Внизу, немного левее, её свёкор работал на просеке, за перепашку которой он принялся два дня назад. Раньше ему помогал горбун, теперь с ним был Пётр. Держа вожжи и кнут, юноша торопливо шагал рядом с вломом, подгоняя его. Старик вёл плуг. Лицо у него было багровое, он, видимо, нажимал изо всех сил. Но, должно быть, не в состоянии был справиться с плугом. Его кидало туда и сюда, словно он имел дело с норовистой лошадью. Казалось, земля тверда, точно камень, и даже на таком расстоянии Анна могла разглядеть бесчисленные пни, корни и обломки скал, ежеминутно преграждавшие путь и человеку, и животному, и плугу. Время от времени плуг наезжал на препятствия, и пахарям приходилось с большими усилиями устранять их или перетаскивать плуг на руках. Борозды получались кривые и прерывистые, как линии, проведённые рукой ребёнка. На меже грудями лежали вырытые камни — горькие плоды горной пахоты.

А для чего весь этот труд? Выкорчёвывать и пахать заставляли нацисты, им нужен был хлеб, и они составили подробное расписание, на сколько каждый крестьянин должен увеличить свою запашку. Ну, от этого урожай не станет больше, мрачно пророчествовал свёкор, никто не будет стараться для нацистов. Однако на своём участке он и себя и вола буквально изматывал работой.

— Чего ради вы так стараетесь? — спросила его вчера Анна, когда носила ему в поле завтрак. — Притворитесь, что вы пашете — и всё, раз вы решили сеять поменьше и предпочитаете, чтобы зерно сгнило на корню, чем отдать его нацистам.

Он покачал головой.

— Притвориться, что пашу? Нет, не выйдет

дело. — Его рука нащупала ком земли. Он отломил кусок и медленно стал крошить его. — Она ревнивая, земля-то, видишь ты. Она не отпускает тебя. Приходится бороться с ней за каждый стебелёк, всегда, всю жизнь. И как же тут... Нет, нет, не могу я обманывать землю. Она и ведь не вечно здесь будут...

Анна поднималась в горы. Её взор блуждал по склонам. Она видела просеку с разбегающимися бороздами, глинистый склон, горелый лес, церковную колокольню, с которой убежал колокол.

Страна лежала перед ней, как огромная счётная книга, открытая для тех, кто умеет читать. В неё были вписаны все долги оккупационных властей и долги их ставленников и наймитов.

Никто не будет забыт, все счёты будут сведены в день расплаты...

Анна сама не знала, почему ей не понравился человек, спускавшийся по лесной тропинке с эмалированной жестяной коробкой для бутербродов, — условная примета, — висевшей на ремне, через плечо. Он шёл крадучись. Черты лица у него были резкие, глаза почти совсем без ресниц непрерывно мигали; в углах тонкогубого рта присохла слюна. Отчего прислали к ней этого вместо того, которого она знала? Что произошло? Мучительное подозрение сжало ей сердце. Что если... Но незнакомец уже небрежно притронулся к фуражке и спросил:

— Скажите, это дорога к угольным печам?

Таков был пароль. Тревога Анны улеглась. И она ответила, как было условлено.

— Вам надо было раньше повернуть направо.

— А не можете ли вы показать мне верную дорогу?

— Да, могу.

Переброска опознавательными вопросами и ответами была окончена. Всё оказалось в порядке! Анна оттянула назад платок, который она надвинула на глаза, увидев незнакомца, и подала ему руку:

— Я ждала Георга.

Он кивнул. Ответил на рукопожатие Анны лёгким пожатием.

— Меня зовут Карел, — сказал он деловито и сухо. — А вы Анна, да?

— Да, так меня зовут.

— Хорошо. Куда мы пойдём?

Его тон и моргающие веки смущали молодую женщину.

— Ну, так куда же мы пойдём? — Он нетерпеливо звякнул крышкой эмалированной коробки.

Анна повела плечами, как будто желая сбросить что-то, мешавшее ей.

— Тут есть еловая рощица, — предложила она, — совсем близко. И там есть лужайка.

— Хорошо. Пойдёмте, не будем терять времени.

Он последовал за ней. Анне казалось, что она чувствует на шее его дыхание. Её губы искривились гримасой, словно она раздавила червяка.

В нескольких шагах от заросли Анна остановилась.

— Минутку. Я сейчас вернусь.

Она обошла рощицу и, внимательно озираясь по сторонам, вернулась на прежнее место. Ни одна веточка не шевелилась. Ничего подозрительного. Карел ждал её.

Ей показалось, что он смотрит на неё с лёгкой насмешкой, впрочем, она могла ошибаться. Она поспешно сказала:

— Идёмте, путь свободен!

И первая нырнула под низко свесившиеся лапы елей.

Карел кинул фуражку на мох и расстегнул куртку.

— Удачное место. Если бы кто-нибудь и забрёл сюда... что ж, влюблённая парочка.

Он сказал это тем же сухим тоном, который так раздражал Анну.

— Кто сюда пойдёт... — возразила она.

— Ну, ручаться никогда нельзя... А теперь давайте займёмся делами.

С этими словами он открыл жестяную коробку и начал шарить в ней.

— У меня тут есть кое-что существенное. — Он прервал поиски и закрыл коробку. — Нет, лучше выясним сначала, как идут дела у вас.

«Да что это в самом деле?» — Анна раздражённо закинула голову. — Почему Георг не пришёл? — отрывисто спросила она.

Карел нахмурился. И когда он ответил, в его голосе были подчёркнуто холодные нотки. «Выговор», — подумала Анна.

— Георг не мог прийти.

— Не мог? Что это значит? Отчего не мог? Что-нибудь случилось?

— Не знаю. И это не относится к делу. Да и времени у меня мало.

— Я ведь, знаете, всё-таки не машина.

Ответ прозвучал более резко, чем она хотела. Она прикусила губу и отвела глаза, не переставая всё же зорко следить за собеседником. Он снова нахмурился, но теперь его лицо выражало скорее удивление, чем досаду.

— Разумеется, вы не машина, — начал он, помолчав. — Вообще человек не машина. — Он улыбнулся. Впервые Анна увидела на его лице улыбку и даже сконфузилась — настолько эта улыбка, немно-

го грустная и беспомощная, не соответствовала впечатлению, которое на неё произвёл этот человек. — Дело в том, — продолжал он, — что я сегодня работал в ночной смене. И сразу после работы пошёл сюда — два часа ходьбы. А к вечеру я должен быть обратно.

В его воспалённых глазах были усталость и ласка. Анну охватило бурное раскаяние.

— Да, ясно... Я ведь не знала, — запинаясь, пробормотала она. — Я только хотела... везде ходят слухи о новых арестах и расстрелах. Вы должны понять.

— Понимаю, конечно, понимаю, — он всё ещё улыбался, но уже не грустной, а какой-то почти мальчишеской улыбкой. — Да это неважно. — Его голос снова зазвучал сухо и строго. — Давайте начнём, не будем отвлекаться.

Карел умел слушать. Анна чувствовала, что его сосредоточенное внимание ободряет её.

Она начала с отчёта о распределении подпольной литературы. Последняя листовка «К матерям солдат, не знающих, за что они сражаются» попала в точку. Женщины на деревне до сих пор говорят о ней, и все, кто постарше, следуя призыву листовки, стали теперь повязывать головы чёрными платками. Гвардейцы Глинки охотятся за листовкой, только зря. Поздно хватились, да и охотятся они не очень-то усердно, охладели в последнее время. Теперь они ворчат не только, когда напьются. Даже когда они трезвы и держат язык за зубами, видишь совершенно ясно, что с них уже хватит. Сдвинуть их с места может только гестапо или обещание особых наград. Пожалуй, неплохо было бы выпустить особую листовку к гвардейцам и объяснить им, чего стоят эти обещания.

Карел одобрительно кивнул.

— Такая листовка уже давно намечена. — Он

полез в свою коробку, вытащил корку хлеба и ножом сделал на ней зарубку. — А газета? — осведомился он.

— Вот, — Анна протянула ему пачку талончиков. — Проданы все двадцать пять экземпляров.

Она сказала это таким тоном, что он перестал моргать.

— Ну? Так в чём же дело?

— Я хорошенько не знаю. Конечно, газета — нарасхват. Всё нарасхват, что только идёт не от них. Но, мне кажется, в ней должно быть больше про нашу деревню, про жизнь нашего округа. Даже если это и не ново. Понимаете? Люди становятся вдвое смелее, когда напечатано о том, что происходит у них в деревне, и о том, что они сделали сами. Например, этот случай с «Малой Варварой» или крест на глинистом склоне... — И Анна вкратце рассказала ему о том, что видела.

— Превосходно, — отозвался Карел, когда она кончила. — Знаете что, Анна? Вы сами напишите об этих двух случаях две маленьких заметки. Сами напишите. Да, да, сами. Неважно, что вы раньше никогда не писали. А вот теперь попробуйте. Вы, женщины, должны делать гораздо больше. В конце концов мы хотим, чтобы каждая кухарка научилась управлять государством.

— Что вы говорите? Смеётесь вы надо мною, что ли? Управлять государством!

— Я говорю совершенно серьёзно. Конечно, не в один день; это даётся ценой усилий и крови. Но человек, сказавший эти слова, знал, что он говорит. Это ведь цитата... Ну, мы ещё потолкуем об этом как-нибудь. Значит, вы напишете два маленьких очерка? Сговорились?

Да, сговорились. Но за это Карел должен раздобыть им коротковолновый радиоприёмник. Тогда подпольную пропаганду можно было бы организо-

вать гораздо лучше и пользоваться сообщениями Лондона и Москвы и новых тайных передатчиков.

— А есть у вас безопасное место для приёмника? Как раз на днях в Жилине поймали трёх человек, которые слушали радио, и приговорили их к смертной казни.

— О, у нас есть отличное место, это как раз в...

Он прервал её:

— Ладно, ладно. Подробности мне не нужны.

Анна смотрела на него, изумлённая. Недавних усталости и мягкости, отражавшихся в его глазах, как не бывало. Карел был чрезвычайно серьёзен, он строго придерживался золотого правила конспирации: никто не должен знать больше того, что ему в данный момент необходимо. Вот нелепость! А он как будто даже гордился этим.

Карел словно угадал её мысли. Он сказал, и в его голосе опять зазвучал упрёк:

— Осторожность никогда не мешает.

Анна чуть не вспылила, но сдержалась. Медленно стала она развязывать последние узелки на платке. Принудив себя держаться такого же сухого, делового тона, она информировала его. Во-первых, по поводу гвардейцев Глинки: верховное командование предписало немедленно всех проверить — на всякий пожарный случай. Затем о новостях, принесённых с гор Иваном Шипко, разносчиком. Люди, прячущиеся там, скоро уже не будут прятаться...

Карел возбуждённо прервал её:

— Правда? Он именно так сказал? Это страшно важно. Вы сейчас увидите, это связано с тем, что я имею сообщить вам. Шипко — так, кажется, его фамилия? Он прямо оттуда? Пошлите его обязательно к нам. Я дам вам адрес. — Он назвал ей имя, место, опознавательный знак. — Запомните? Хорошо. Больше у вас ничего нет?

— Ещё одно. Тут есть у нас новый человек, он только что приехал. Родственник моего свёкра, Пётр Новоместский из Кремниц. Бывший студент. Наш. Фашисты посадили его в лагерь в прошлом году после волнений в университете, — помните траурный флаг, когда был праздник благодарности фюреру за урожай? Мне кажется, мы можем привлечь его к работе... Нет, подождите, я знаю, что вы хотите сказать. Он был в лагере, верно, и осторожность никогда не мешает, но я наводила справки у друзей в Кремницах. Он показал свою стойкость и раньше, и в лагере тоже. Туда привезли очень много новых, места нехватило, поэтому только его и выпустили, и он вовсе не так стремится к работе — скорее наоборот.

Анна всё это выложила одним духом и сразу замолчала, ожидая резкого ответа. Это было напряжённое, почти враждебное молчание. Однако, к её удивлению, Карел не ответил. Он продёргивал между зубами травинку, как делают дети.

Под его спокойным внимательным взглядом самоуверенность Анны исчезла. И она сказала с преувеличенной убеждённостью:

— Я хочу сказать, что тут знаешь, с кем имеешь дело.

Карел медленно продёргивал травинку. Он всё ещё продолжал молча смотреть на Анну. Затем наклонился и взял её за руку:

— Вот, вы чувствуете ямку? — спросил он, прикладывая её руку к своей груди немного выше сердца. — Чутьку ниже и конец... Пуля гестаповца... Они нагрянули тогда на нашу первую летучую типографию. Типография взлетела на воздух в клубах дыма. Мы, к несчастью, тогда тоже верили, что можно полагаться на человека, если у него честное лицо. Это стоило нам четырёх убитых, самых лучших ребят, десятка арестованных и це-

лого года налаженной работы... Я лежал полдня среди трупов, пока товарищи не унесли меня... Такие вещи не забываются.

И Анна ещё раз почувствовала стыд и раскаяние.

— Да я вовсе не собиралась сразу посвящать его во всё, — оправдывалась она, — и он ещё ничего не знает о моих планах. Я просто считала, что нам нужны люди, которые пригодятся впоследствии. И хочу иметь его под рукой.

— Ну, в таком случае всё в порядке. — Карел открыл свою коробку. — А теперь можно и... — Он не закончил и осторожно отломил маленький кусочек от сливочного сырка. На месте надлома торчал уголок сложенной вчетверо бумажки. Карел вытащил его, расправил и протянул Анне: — Нате, прочтите внимательно. А потом мы это тут же сожжём.

Заголовок, подчёркнутый красной чертой, извещал, что это «Инструкция для руководителей сельских пятёрок в районах ВС III, ВС IV и ВС V». Инструкция была напечатана на машинке, экземпляр был слепой, бумага смялась и читать было трудно, Анна сощурилась и наспех пробежала введение.

«Наступают, — говорилось там, — великие дни... В ближайшем будущем можно ожидать событий, которые будут иметь решающее историческое значение». Следовали предсказания, что нацисты рано или поздно потерпят блиц-поражение... Ну, мысль не новая. А это, это что такое? Кровь отлила от лица молодой женщины, но через миг Анна снова вспыхнула до корней волос. Она прочла:

«Последние донесения с фронта показывают, что призрак 1918 года неумолимо встаёт перед немец-

кими войсками. На внутреннем фронте также происходят сдвиги. Сообщения из всех немецких областей сходятся на том, что среди рядовых членов нацистской партии наблюдается резкий упадок духа, а моральное состояние войск с каждым днём ухудшается. В среде нацистских властей и чиновников заметны смятение и растерянность. По данным гестапо, промышленная продукция Рурской области, Верхней Силезии и Центральной Германии снизилась в результате саботажа на сорок процентов. В занятых немцами областях и протекторатах оппозиция растёт не по дням, а по часам и проявляется открыто. В Париже за один месяц немецкий военный суд только за саботаж на железной дороге вынес 620 приговоров, 495 из них — смертные приговоры. Согласно секретному донесению белградских военных властей, оккупационные войска в Сербии за последние три месяца насчитывают 2 923 убитых и 6 822 раненых. Чиновники протектората в Праге спешат отправить свои семьи обратно в Германию. Немцы, владеющие недвижимостью в чешских общинах, и даже судетские немцы продают свои дома за бесценок. Жёны и дети рабочих электростанции в Ужгороде объявлены заложниками, чтобы заставить рабочих соблюдать светомаскировку, так как дважды во время налётов город был освещен. В Кракове десять польских партизан, приговорённых к смертной казни, были ночью отбиты партизанами. В любой день могут произойти решающие события. При такой ситуации нельзя сидеть сложа руки, нужно расшатывать здание, готовое обрушиться. Даже в самых глухих словацких деревнях и мужчины и женщины должны принять участие в общих усилиях по свержению ига ненавистных оккупантов. И для наших округов тоже пробил час активной

борьбы. Уже выпущены инструкции о создании в наших пограничных лесах партизанских отрядов. Руководителям наших пятёрок поручено образовать особые группы от трёх до шести человек в каждой—диверсионные группы. Руководители и участники этих групп должны в совершенстве знать топографию местности, особенно леса, тропинки, судоходные реки и озёра, железные дороги, мосты, фабрики, электростанции, штаб-квартиры гвардии Глинки, посты нацистов (общееармейские, всесовские и другие). Они должны также знать всех лиц, сотрудничающих с нацистами или сочувствующих им. Диверсионные группы начнут действовать по получении особого приказа...»

Буквы прыгали перед Анной. Она ещё была в состоянии разобрать отдельные слова: «...немедленный контакт... оперативная секция... в целях снабжения оружием...» Затем перед глазами поплыли радужные круги и всё заслонили.

Анна почувствовала, как её сердце ширится. Растёт. Наполняет всю грудь. И бьётся и гудит, точно колокол.

Она подняла голову. Ей казалось, что всё уже сорвалось с места, но она увидела только голубоватые ели, плавно покачивающиеся вершинами, кусок неба между ними, светлого, как далёкая вода, с белым парусом одинокого облака... услышала только лёгкий ропот ветра и трель какой-то птицы, вдыхала только смолистый запах хвои и горькое благоухание лесных трав.

«Неужели это будет?» — в радостном смятении спрашивала себя Анна.

Она покосилась на Карела. Он как раз в это время снял с шеи второго муравья и сдувал его с ладони в траву. Верно, тут поблизости муравейник... Ей пришли на память стихи, она прочла их

Помогать ходила. В замок. Когда гости или в праздники. Но...

— Подождите, сейчас вы поймёте, к чему я веду. Слушайте: в замке идут большие приготовления, там, в ближайшие дни, ждут гостей. Имело бы смысл вам сразу же отправиться туда, чтобы никто другой вас не опередил... Эти гости — офицеры, а офицеры не приедут без свиты. Нацисты размещают в нашем районе один из своих отрядов. — Он говорил быстро и остановился, чтобы перевести дыхание и подчеркнуть сказанное, затем потёр руки и продолжал: — Служба особого назначения... Нам до сих пор не удалось узнать, что это — просто мера предосторожности или они действительно что-нибудь пронюхали. Поэтому, вы сами понимаете, как важно иметь в замке своего человека, когда они приедут. Может быть, это будет центральный пост... Ну, там увидим... Во всяком случае нам надо поддерживать самый тесный контакт. Да. А теперь давайте кончать.

Он привстал на колени, поджёг бумажку с инструкцией и дождался, пока последний уголок не свернулся и не рассыпался пеплом.

— Может быть, лучше, если я уйду первый, — сказал он. Его тон снова стал отчуждённым и холодным, как вначале.

Анна набросила на голову платок.

— Счастливого пути!

— И вам тоже. — Он нахлобучил шапку, по медлил, затем, наклонившись, скользнул под низкие ветви елей.

— И вам тоже! — вдруг крикнул он через плечо. — И продолжайте в том же духе!

Когда Анна через минуту вынырнула из чащи, Карела и след простыл. Она поправила платок и

зашагала по тропинке домой. Ветер пел в вершинах деревьев. Две вороны лениво пролетали над склоном, хрипло каркая. Откуда-то доносился густой аромат свежеспаванной земли, смешанной с едким запахом винного перегара.

Анна пошла быстрее. Вдруг её колени задрожали, она споткнулась. Колючая боль пронизала её тело, от боли перехватило дыхание. Она остановилась. Колотье и боль прекратились. Истуг сменился горячей радостью:

— Это ребёнок... мой ребёнок...

5. АХ ТЫ, КЛЁН, ТЫ, МОЙ КЛЁН..

Волоча хромую ногу, Штефан Яника проковылял из горенки, где стояла его кровать, в сени. Было ещё темно. Яника не выспался, и глаза у него слипались. Из щелей выходной двери потянуло знобящим сквозняком. Изувеченную ногу Яники ломало, как всегда в это время года, а табак в трубке, которую он разжёт ещё в постели, отдавал затхлостью. Всё удовольствие было испорчено. Вчерашнее раздражение не покидало его всю ночь, не прошло и сегодня утром.

— Погонщики они, а мы рабочий скот, рабы, да, — сердито пробормотал он, выбил трубку и сунул в карман. — А с чужим человеком надо сначала три пуда соли съесть!

Здоровой ногой он распахнул дверь и вышел из дома. Небо было затянуто тонким слоем облаков, ветер трепал гнездо аиста на крыше. Большая лужа посредине двора тускло поблёскивала плёнкой, как глаз мёртвого вола. Мглистый воздух раздражал горло. Яника поднял меховой воротник тёплой куртки, ковыляя, обогнул лужу и направился к дровяному сараю. С яростью вырвал он топор из

чурбана и швырнул его в тачку, за топором последовали две пилы. Ко всем чертям! Деревья в лесу отсырели, стволы тяжелы, как свинец, а эти проклятые гвардейцы взыскивают за срубленное по весу. Поэтому они, видишь, и разрешили рубить дрова в казённом лесу только теперь, когда начались дожди и всё намокло. Теперь людям каждая сажень обходится вчетверо дороже, чем до «нового порядка». А потом ещё давай им добровольные жертвования на их зимнюю помощь. Добровольные, слышали что-нибудь подобное?

— Эх... сукины дети!

Яника раздражённо пнул чурбан с такой силой, что деревянный башмак чуть не слетел у него с ноги. Затем поплёлся в хлев прибраться за волом. При виде отощавшего животного он снова почувствовал, как у него разливается желчь. Куда это годится? Рёбра торчат, шерсть на боках уже не лоснится. И всё-таки приходится кормить его впроголодь, — будешь кормить досыта, сейчас же реквизируют.

И ничего нельзя поделывать, терпи да терпи!

Яника зашаркал обратно в дом. В кухне стоял смешанный запах горячей хвоя, варящихся бобов и распаренных человеческих тел.

Пётр сидел за столом. У него уже были не те воспалённые, ввалившиеся глаза, что в день приезда. И уголки его рта уже не были опущены. Даже шрам над светлой полоской бровей стал как будто не так заметен. Он смотрел на горбуна Юло, который собирал завтрак с нетерпением проголодавшегося ребёнка. Анна стояла возле печки, передвигая горшки и сковороды. На ней была широкая красная юбка и белая, только что из-под утюга, блузка с пышными рукавами. Она нарядилась, как в праздник.

Яника сердито стрельнул взглядом в сторону стола. Молча направился он к скамье, снял деревянные башмаки и надел сапоги. Переобуваясь, он заметил, что Анна тоже в сапогах.

— Я поеду с вами, — сказала Анна, словно угадав мысли свёкра, — до угольщиков. А потом пройду в замок. Может, там опять работа найдётся.

Старик продолжал молча жевать кончики усов. Усы побурели от табака, и вкус у них был горький. Вдруг он спросил:

— А какая там для тебя может быть работа?

— Офицеры у них будут на постое. Вот на кухне и понадобится помощь. Теперь есть Пётр, он лучше меня здесь справится. Я ведь уж не смогу так работать... пока...

— Ну, ладно, ладно... — Яника кряхтя поднялся. — Завтрак-то хоть собран?

— Сейчас. — Анна сказала горбуну, чтобы он подал хлеб и лук. Сама она поставила на стол большой, полный доверху горшок.

Она принялась раскладывать бобы по тарелкам. Над столом за клубился пар. Юло шлёпал ложкой, разминал бобы, дул на них. Яника с раздражением следил за ним, хотел сделать какое-то замечание, но удержался и склонился над собственной тарелкой. Его глаза стали влажными, борода то и дело попадала в тарелку, но он хмуро продолжал есть.

— А как это будет, Анна? — спросил Пётр. — Вам придётся там весь день работать?

— Нет. Впрочем, не знаю.

— Побережь себя надо, да и...

— Что?

— Ну... прислуживать этим офицерам...

Яника, доевший свои бобы, прервал разговор:

— Поменьше болтать надо, да поскорее есть.

И так уж поздно.

Он облизал ложку, подошёл к окну, открыл его и высунулся наружу. Ещё только начинало светать, накрапывал тихий дождик. С базарной площади, где крестьяне решили встретиться, чтобы вместе ехать за дровами, доносился приглушённый густым туманом скрип колёс и свист кнутов.

— Ну, живей поворачивайся... Беги за волом к соседу, — орал Яника, размахивая руками перед носом горбуна. Он вытащил из-под скамьи несколько пустых мешков от овса и накинул один из них в виде капюшона на голову. — Да собирайтесь же... вот копаются... — нудил он своих спутников. — Все давно на месте. Только мы одни ещё вольгнемся, — и он выпроводил всех на улицу.

Поднялся ветер и сорвал с земли последние лохмотья ночи. Запищали цыплята. Юло вернулся от соседей с волом и стал запрягать его вместе с волом Яники. Старик нетерпеливо помахивал кнутом и торопил Анну, которая замешкалась в хлеву. Не успела она сесть в телегу, как старик дёрнул вожжами и хлестнул волов. Пётр и Юло едва поспевали за телегой.

На площади уже стояло несколько таких же телег. Крестьяне собрались кучкой и покуривали.

Один из них помахал рукой Янике:

— Эй, Штефан! Что это ты, — вдовый, а опаздываешь, как новобрачный?

— Хорош вдовый! — крикнул другой. — А в телеге — баба! Глянь-ка...

Он получил кулаком под ребро:

— Это же Анна! Дубина!

Наступило неловкое молчание. Крестьяне переминались с ноги на ногу. Первой заговорила Анна.

— Ну что? Почему мы не едем? — спросила она. — Или не все собрались?

Да, одного нехватало. Но в эту минуту разда-лось восклицанье:

— А вот и он!

Подъехала ещё телега. Крестьяне кресткой бранью встретили опоздавшего, поспешили к телегам и тронулись в путь, громко попукая волов и щёлкая кнутами.

Вытянувшись длинной вереницей, телеги медленно ползли в гору. Яника ехал в хвосте. Дождь прекратился, но старик не снимал с головы мешка и сидел скрючившись, точно под ливнем; Анна давно сбросила мешок. Опустив голову, глядя вниз, она казалась погружённой в глубокое раздумье. Петру, шагавшему рядом с телегой, был виден только её нежный профиль. Прозрачная капелька дождя ещё поблёскивала у неё на лбу. Когда телега наехала на корень, капелька дрогнула и скатилась по её щеке.

«Точно слеза, — подумал Пётр, — но ведь она не плачет.. Она — как горная ель. Есть женщины, которые от таких переживаний как бы замерзают. Навеки чахнут, точно где-то внутри у них не переставая сочится кровь. Они похожи на вот эти деревья, надломленные бурей. Другие плачут и неистовствуют. Им хочется сокрушить весь мир, но они подрывают только собственные силы. А есть такие, что не замерзают, но крепнут. Они — как горные ели на вершинах утёсов: гибкие и сильные, их не сломить и не выкорчевать».

Пётр был настолько погружён в свои мысли, что чуть не налетел на телегу, когда она внезапно остановилась. Насколько хватал глаз, стояла и вся бесконечная вереница телег. Крестьяне торопливо соскакивали и бежали к небольшой рощице.

— Что там случилось? — спросила Анна. Она привстала и смотрела вслед мужчинам, которые,

один за другим, окрывались среди стволов. — Пойдём взглянем, в чём дело. — Но свёкор пробурчал, что никуда он не пойдёт. — Так я одна пойду. — Она выпрыгнула из телеги и обернулась к Петру. — Пошли, да?

— Пошли!

Они зашагали вдоль телег. Старик тоже не выдержал и заковылял за ними, раздражённо бурча себе что-то под нос.

Передняя телега остановилась на опушке. Красные и синие юбки женщин мелькали сквозь поредевший кустарник. Визгливые женские голоса смешивались с гудением мужчин.

Когда Пётр и Анна дошли по тропинке до роши, перед ними открылось странное зрелище. Женщины — их было около десятка — копошились в широком рву у самой опушки. Их пальто и шали висели на деревьях. На земле валялись лопаты, а за рвом тянулось свежевспаханное поле, но какое поле! Между кривыми бороздами, среди вырванных из земли корней валялись разбитые могильные памятники, и вся земля была усеяна костями.

— Еврейское кладбище, — прошептала Анна, едва переводя дыхание. — Здесь было Модранское еврейское кладбище.

Модраны была соседняя деревня, одна из получивших «праздничный подарок», как говорили, про те общины, которые гвардия Глинки «очищала» от евреев по случаю дня рождения Гитлера. Однако, к великому разочарованию гвардейцев, дома, где раньше жили евреи, немедленно были захвачены немецкими колонистами, а синагога превращена в немецкий магазин. Но кладбище до сих пор не трогали.

Анна обратилась к одной из крестьянок. Это была статная и сильная женщина с рябым лицом и копной огненно-рыжих волос.

— А вы, женщины, как сюда попали? Чего вы тут делаете, Верона? Вы перекапывали еврейское кладбище?

Женщины смущённо заговорили наперебой:

— Мы не хотели, да пришлось.

— Они велели...

— Вся деревня здесь пахала вчера.

— Они проверяли по списку, кто откажется, тех в каталажку.

— Да! И никому не позволили сначала хоть похоронить кости в другом месте.

— Прямо звери! Вот мы сейчас и закапываем кости.

Голос рябой покрыл все остальные голоса:

— Ну да, зачем же мы и пришли. Вернуть мёртвым покой.

Все кричали разом, и Анне никак не удавалось вставить слово. Наконец она улучила секунду.

— А где же ваши мужчины? — спросила она рябую.

— Да разве их раскачаешь? Им наплевать на мёртвых. Уж мы просили их. У вас телеги, и коли вы нам поможете, мы за час управимся. А им наплевать.

Крестьяне разом загалдели:

— Как же, только у нас и дел, что кости хоронить.

— Кто разрыл, пусть и зарывает.

— А вы чего стараетесь? Ваше это дело — хоронить кости? Подумаешь! Очень нужно!

Чей-то новый голос резко оборвал этот галдёж:

— Эх вы, чурбаны! Видно, голова у вас соломою набита.

Все обернулись в сторону говорившего. Это был Иван Шипко, неожиданно выросший перед растопкинами. Не обращая никакого внимания на возгласы изумления, он продолжал:

— Всё ещё не дошло до вас? Нынче евреи, а завтра словаки. — Он повернулся к мужчинам, кидая вопрос за вопросом по очереди каждому из них:— Тебе легче, что ли, оттого, что ни один еврей не может больше торговать вином? С тебя дешевле берут теперь за водку? Да? А у тебя много овец прибавилось в загоне? Тебе стали больше платить за них, с тех пор как только гвардейцам да арийцам разрешено торговать скотом? А тебя, Яника, — Иван сделал размашистый жест, словно охватывая разорённое кладбище, — это тебя может утешить, что ли, когда ты вспоминаешь про сына?.. И вам, верно, всё равно, что налоги вас душат всё больше? Что из вас всё дочиста выкачали на зимнюю помощь? Что нацисты с нашего хозяйства только пенки снимают? Что из ваших сыновей все соки выжимают в рабочих батальонах? Что вам грозит лагерь за каждую зарезанную курицу, за каждое «убийство цыплёнка»? Ясно, всё вздор, зато получили «праздничный подарок».. Господи боже, да вы что, совсем ополоумели?— Он замолчал и обвёл столпившихся крестьян вопрошающим взглядом. Все головы были опущены. Морщины вокруг его глаз дрогнули едва уловимой улыбкой. Он помолчал, выжидая, потом закончил: — То-то и оно. А теперь давайте-ка поможем бабам. Помоему, мы вот как сделаем: сперва соберём все эти кости, сложим их кучками у борозд, как мы картошку складываем, а потом на телеге довезём до канавы. Идёт?

Не дожидаясь ответа, Иван взял лопату и двинулся на кладбище.

Крестьяне поспешили за ним, толкая друг друга.

Они рассыпались по полю и принялись за работу.

— Эй! — крикнул вдруг Иван. Он стоял выпрямившись и смотрел на женщин, складывавших кости в маленькие кучки, точно следил за уборкой урожая.— Эй! Что ж вы не поёте?

Он вытащил свою свирель и поднёс к губам.

Молодая девушка первая затянула высоким, немногим визгливым голосом:

Ах ты, клён, ты, мой клён!
Лист зелёный мой!

Второй голос, ниже и мягче, поддержал:

В барском доме спину гну
Бедною рабой...

Пять, десять голосов подхватили песню, словно вступали разные трубы органа.

А на барском на дворе
Колодец без дна...
Господи, верни свободу
Поскорее нам...

Теперь вступили и мужские голоса:

От проклятых, от господ
Дай уйти скорее.
Силы больше нет терпеть,
Лучше умереть.

Песня погасла на протяжной ноте, подобно долгому вздоху. Но когда Иван начал второй куплет, в ней зазвучало иное настроение. Это уже была не жалоба, а вызов.

Все насторожились. Иван вынул свирель изо рта и затянул.

Ах ты, клён, ты, мой клён,
Не шуми листьями,
У чужих, у злых господ
Стали мы рабами.
Новые господа
Нам на шею сели...

И опять девушка с пронзительным голосом первая подхватила:

Сели нам на шею.
Угоняют, грабят
Всё, что мы имеем.

И один за другим опять вступили мужские и женские голоса и под конец запел даже молчавший до сих пор Штефан Яника.

Отнимают без стыда—
Что весна, что осень.
Но постой! Недолго ждать,
И ярмо мы сбросим!

Из-за леса налетал порывами резкий ветер и рвал песню с губ певцов, но крестьяне продолжали петь.

Час спустя ров был засыпан. Над ним поднялся бугор.

Одна из женщин предложила скрыть эту братскую могилу, разровнять над ней землю и засыпать сосновыми иглами.

— Так им сроду не найти. А то найдут да расшвыряют, опять выроют кости, с них станется...

Но рябая Верона запротестовала:

— Пусть попробуют! Мы тогда им эти кости на порог положим, как сделали в Жилине после расстрелов на бумажной фабрике. Выйдет утром чёрнорубашечник на крыльцо, а там череп лежит и на стене крест намалёван...

Иван Шипко внимательно рассматривал рослую рябую женщину, и брови его поднялись, но он ничего не сказал. Только когда последняя горсть земли легла на место, он отозвался на слова Вероны:

— Так-так. Значит, и ты могла бы малевать кресты у них на стенах?

— Ну да, могла бы. И любая из нас могла бы. Верно, бабы?

Женщины наперебой выражали своё согласие:

— Конечно! Ещё бы! А то нет?

— Уж можешь положиться на нас.

— Вот этой вот самой рукой, как перед богом!

Иван покачал головой. Потом, с расстановкой, не спеша, словно вытягивая на берег сеть, полную рыбы, заметил:

— Молодец! Молодец! А теперь дай-ка мне вспомнить, Верона... Не ты ли отдала своих парней в гвардию Глинки?

Рябое лицо Вероны побагровело от злобы:

— Что ж, было такое дело, отдала...—Её голос пресёкся. Затем, уже глуше, она продолжала:— Трех отдала в гвардию. Парни — огонь... — И вдруг её прорвало:— А что вышло? Павла они утнали в Польшу. Он не вернулся. Часы его мне вернули, пробитые пулей, да клочок бумаги. Марек просился домой, хотел помочь по хозяйству, — ведь ни одного мужика в доме не осталось после смерти дедушки, а требуют с тебя нисколько не меньше. Так нет же, не дали ему отпуска, а когда он сбежал, его упрятали в лагерь. Теперь он в больнице, кровью харкает. Лицо у него стало такое вот, с кулачок. — Её полные плечи дрогнули от всхлипываний. Она поспешно утёрла глаза и нос подолом юбки. — А меньшей — Ладо — от него нет и нет вестей, вот уж второй год пошёл. Говорят, убежал в горы, а если они поймут его... — И снова её грузное тело затряслось от рыданий, но она тотчас же овладела собой. Глаза её стали жесткими, как и голос: — Ну да, мы отдавали им своих сыновей. Поверили им, что наша жизнь лучше станет при ихнем фюрере да «новом порядке». Многие пове-

рили. Ну, а сейчас пройдите-ка по деревням, до самого Дуная, и поспрошайте народ, верит он ещё и стало ли кому-нибудь вот настолечко лучше?

— Нет! — с волнением отозвалась женщина, стоявшая рядом с Вероной. — В десять раз хуже стало!

— В десять? Да не в десять, а в сто раз, — раздалось с другого края толпы.

И затем, точно град за первой градиной, посыпались восклицания:

— Налгали нам...

— Обманули...

— Рабами сделали!

— Они хуже казней египетских!

Все с ожиданием смотрели на Ивана.

Разносчик снял шляпу. Ветер заиграл сизыми прядями его волос. Сейчас его лицо, больше чем когда-либо, напоминало потемневшую от времени деревянную скульптуру.

— Да... — неторопливо и веско заговорил он. — Они налгали вам. Они обманули вас. Они сделали вас и ваших детей рабами... Ну, а вы? Что вы делаете? Кости хороните. Хорошее дело, слов нет, только разве этого достаточно? Или вот песню спели. Тоже хорошо, только разве этого достаточно? Подумайте-ка. — Он нахлобучил шляпу на лоб, вытащил трубку, не спеша зажёл спичку, и несколько раз затянулся. — Вот о чём вам подумать следует.

Все молчали. Вдруг замычал один из волов. Это послужило как бы сигналом. Крестьяне шумно задвигались. Телеги снова тронулись. Мужчины из Расток продолжали путь в горы. Женщины из Модран пошли вниз, в деревню. Скоро они слились в одно яркое пятно, ползущее по склону, как

гусеница с красными и синими крапинками. Женщины пели. И ветер доносил обрывки их песни:

Ах ты, клён, ты, мой клён,
Лист зелёный мой...

Иван шёл рядом с телегой, в которой сидела Анна.

— Вы хорошо сказали им, — заметила она.

Иван щёлкнул пальцами.

— Убедить их нетрудно. Сейчас народ, как хвост. Нужна только искра. — Он потёр лоб рукой. — Иной раз, знаешь ли, думается, право: чего мы ждём?

Он нахмурился. В его голосе слышалась затаённая тревога.

Анна медлила с ответом. Вдруг она попросила свёкра остановиться. Соскользнула с телеги, вплотную подошла к Ивану и прошептала:

— Мы уже перестали ждать.

Сначала он недоверчиво взглянул на неё. Затем его лоб разгладился. Глаза расширились и потемнели.

— Правильно, — сказал он. — Давно пора.

6. ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА

Увлечённые беседой, старик и молодая женщина всё больше отставали от телег. Когда, наконец, последняя скрылась из виду между деревьями, они остановились на перекрёстке. Налево дорога поднималась в гору, к угольным печам, направо, пересекая склон, вела к имению барона Альпари.

— Надо идти, — сказала Анна, взглянув на солнце, светившее сквозь облака, точно тусклый маяк. — Как будто обо всём переговорили? — И она вопросительно посмотрела на Ивана Шипко.

Тот только кивнул, набивая свою трубку. — Значит, всё будет в порядке? — продолжала Анна. — Вы пойдёте прежде всего к угольщикам и скажете Мареку Лигату и Йошко насчёт этих групп «Д»? А потом повидаете обеих женщин и им тоже скажете? А завтра встретитесь с Карелом в посёлке?

Разносчик отвечал кивком на каждый её вопрос. Затем вынул трубку изо рта.

— Можешь не беспокоиться, Анна. Ты ведь знаешь меня, верно?

— Отлично! Вы запомнили адрес и пароль? Смотрите не забудьте!

— Ладно.

— Ну, до свиданья, Иван.

— До свиданья, Анна.

— Ещё минутку, — удержала она старика. — Может быть, завтра на обратном пути прихватите коротковолновый приёмник, они ведь обещали нам... Конечно, если он готов и это не очень затруднит вас.

— Конечно.

Они расстались. Иван Шипко повернул в лес, Анна пошла в противоположную сторону, туда, где вдали над живой изгородью виднелись кровли дворовых построек.

Эти постройки состояли из двух длинных низких хлевов и лачуги для пастухов. Хлевы стояли заброшенные. Крыши провалились, а там, где некогда были двери и окна, теперь зияли чёрные отверстия. Из этих отверстий всё ещё несло кислой вонью овечьего навоза. Лачуга же служила теперь убежищем для уволенных за старостью слуг и работников. Но когда Анна подошла ближе, она увидела, что в лачуге пусто, а у ворот три женщины, плача, грузят свой скарб на тачку.

— Что случилось? — крикнула Анна. — Отчего вы съезжаете?

— Помещение им нужно, — ответила одна из женщин. — Для караула...

Она испуганно остановилась на полуслове. Из узкого проулка между хлевами вышел управляющий. Это был раскормленный молодой человек в ботфортах для верховой езды, клетчатых брюках и коричневой рубашке твардейцев Глинки. Он угрожающе размахивал хлыстом и ещё издали крикнул:

— Ну? Что вы тут валандаетесь? Неужели ещё не кончили? Сейчас вы у меня запляшете! — Он заметил Анну и обратился к ней: — А ты зачем здесь, чего тебе тут надо? — Он подошёл к ней, хорохорясь, как петух, и при каждом шаге похлопывая хлыстом по ярко начищенным сапогам. Управляющий нагло смотрел на неё, и его взгляд как бы говорил: «Не советую ссориться со мной...»

Анна стиснула зубы, он был ей отвратителен. Она едва удерживалась от желания плюнуть прямо на его блестящие, как зеркало, сапоги. С трудом проглотила она горькую слюну и ответила, не глядя на него:

— У меня дело в замке.

— Ах, так... — протянул он. Ответ Анны, видимо, охладил его пыл. — Вы значит... за вами, кажется, посылали. Вы нужны там. — Он небрежно коснулся кончиком хлыста козырька фуражки. Затем вновь обратился к трём женщинам, которые тем временем уже кончили грузиться и привязывали к тачке свой убогий скарб. — Ну, живо! живо! — подгонял он их, хотя уж не так свирепо.

— Помещение надо приготовить засветло.

Он удалился, всё так же хорохорясь и похлопывая хлыстом по сапогам. По пути к замку Анна снова увидела его за конюшнями. Он сидел на тощей кляче, а рядом с ним гарцовал на отличном

гнедом жеребце офицер в мундире словацкой армии. Что-то знакомое было в лице офицера, но она только мельком взглянула на него. Офицер тоже заметил её. Он выпрямился в седле и стал всматриваться. Анна поспешно отвернулась и пошла прочь. Ветер донёс до неё обрывки слов офицера, который начал спрашивать управляющего: «...эта вот, на тропинке?..»

Даже голос был знакомый. И вдруг Анна вспомнила, кто это. Это Лацо — щёки, как румяные яблоки. Лацо Выдра, сын священника, здешний. Детьми они играли вместе. Потом, когда стали старше, он одно время приударял за ней. А теперь вот служит в армии, офицер, — ну, ну!

Показался замок, стоявший на холме среди заглохшего парка.

У самых ворот Анна услышала позади лошадиный топот. Двое всадников догнали её, они ехали крупной рысью.

Анна не ошиблась. Действительно, этот офицер был участник её детских игр. Он мало изменился. Такой же здоровый, коренастый, те же тугие щёки, похожие на румяные яблоки. Интересно, любит ли он попрежнему чёрные сочные ягоды шелковицы?

Он обернулся в седле. Его голубовато-белёные глаза вдруг удивлённо раскрылись. Но лошадь уже умчала его дальше.

В замке царило оживление, словно в улье, перед тем как пчёлам роиться. Солдаты снимали с грузовиков ящики с канцелярскими принадлежностями и уносили их в один из флигелей, целиком занятый под канцелярию. На лестнице монтажники крепили электрические провода. В маленькой комнатке рядом с библиотекой два сержанта устанавливали

коммутатор. Со всех сторон доносился стук молотков, хлопанье дверей, скрип передвигаемой мебели. Поломойки с подоткнутыми юбками скребли пол в комнатах, отведённых для гостей. В столовой слуги накрывали длинный стол для команды, в гостиной — стол поменьше, для офицеров.

Жёны двух служащих суетливо помогали старику-повару на кухне, несколько девочек-подростков чистили в сенях картошку.

Экономка, высохшая женщина с бородавчатым стародевьим лицом, бродила среди сумятицы, точно заблудшая душа, сыпала приказаниями и тут же отменяла их, посылала кисло-сладкие улыбки солдатам, визгливо орала на служанок.

В доме было шумно, как на деревенской ярмарке. Распоряжения, отдаваемые по-немецки, смешивались со словацкой речью, а по временам над всем этим хаосом звуков поднимались голоса, тянувшие песню:

Боже, боже, неисповедимы
Пути, которыми наш мир идёт...

Это девочки пели над картошкой песню кающегося «блудного сына».

Эх, хозяин, ты богат.
Я ж—слуга, ничтожен я.
Но мы оба в смертный час
Ляжем в землю, ты и я.

Анну приставили к столу, на котором ждали своей очереди уже готовые кушанья. Около неё повариха звякала кухонными ножами и без умолку трещала, вспоминая доброе старое время — шумные охоты при жизни покойницы баронессы, торжественные обеды на тридцать персон, а то и больше, торты ко дню рождения, в которые полагалось класть пять дюжин яиц, не меньше.

У поварихи был сиплый бас. Анне чудилось, что

большая муха запуталась у неё в волосах над ухом и беспокойно жужжит, стараясь вырваться. Она попыталась не слушать болтовню старухи и схватить хоть обрывки разговора, который вели между собой две женщины, жёны служащих, судача о прибывших на постой офицерах.

— ...седой, со шрамами, командир; не могу понять, чего нужно этому длинноногому капитану...

— ...гестаповец, разве вы не видите?

— Да, ясно... А остальные? Да что вы! Не может быть! Наш земляк?

— Ну да, словак.

— Ах, да, действительно.. этот лейтенант. Верно, верно. Его даже поместили не здесь, а внизу с управляющим.

— Вы только не...

Дверь распахнулась. Кто-то потребовал кофе для майора.

— Кофе? У нас ведь нет...

— Как нет? Эконому выдали кофе и даже сахар для всех гостей.

— Фрейлейн Амалия, просят кофе.

— Ясно, для немцев всё есть.

— Конечно... А ты лучше попридержи язык...

— Фрейлейн Амалия!..

Зазвенела связка ключей. Полилась вода, и, шипя вырвался пар. Кухня наполнилась ароматом кофе.

Повариха пробормотала что-то насчёт шоколадного торта, который до войны пекли каждое воскресенье.

Около плиты шептались:

— Отольём немножко?

— Не стоит.

— Почему? Потом подольём воды, на разок хватит.

— Тсс...

В кухню вошёл ещё человек. Его лицо было из-

мазано сажей, глаза, зелёные, широко расставленные, напоминали глаза дикой кошки. Это был Иошко Лигат, внук угольщика.

Женщины стоявшие у плиты, замахали руками:

— Ну, чего тебе здесь надо?

— Я мешок с углём принёс.

— Хорошо. Высыпь в ящик за дверью, нет не там! Господи боже, да убирайся ты скорее из кухни! Посмотрите на этого мошенника, уже успел стянуть кусок жаркого!

— Врёте, я не брал, он сам упал с блюда.

— Сам!.. Вот прохвост! А куда же он делся?

Пошёл вон!

Несколько минут спустя Анна вышла во двор за молоком. Иошко сидел на корточках под возом с сеном.

— Иошко!

Он испуганно метнулся под возом, точно застигнутый на месте преступления, но узнал Анну, вылез и с набитым ртом пошёл ей навстречу. Губы у него лоснились от жира. Он провёл по губам сначала одной рукой, затем другой и вытер их о мех своей овчинной безрукавки.

— Ишь какое жаркое ты стряпаешь для нацистов, — заметил он, поглаживая себя по животу. — Недурно. Возьмите меня в кухонные мужики.

— Тебя только там доставало. Скажи-ка мне лучше, что Шитко, разносчик, заходил к вам?

— Заходил. И рассказывал новости. Я рад, что, наконец, начинается, — добавил Иошко. Его зелёные глаза сузились, остались только две сверкающих щелки. — Я тоже не буду терять времени.

— Это ещё что? Ты что затеял?

Анна поставила молочник наземь и потянула Иошко за полу рубашки. — Послушай, если тебе взбрела в голову какая-нибудь глупость...

— Не беспокойся!

— Скажи сейчас же, что ты задумал?

— Да ничего особенного. Увидишь.

Иошко вдруг выскользнул из её рук и убежал.

Анна бросилась было вдогонку, но в эту минуту во двор въехал всадник. Это был Лацо Выдра, словацкий лейтенант. Он увидел Анну и резко натянул поводья. Несколько секунд он возился с уздечкой. Видно было, что он, в сущности, не знает, как ему держать себя с молодой женщиной. Тем временем Анна подняла с земли кувшин и собралась идти.

Но лейтенант, видимо, на что-то решился и слез с лошади.

— Анна!

Она остановилась и посмотрела на него в упор. Он отдал ей честь с преувеличенной галантностью, намотал поводья на столб и направился к ней, не отнимая от козырька затянутой в перчатку руки.

— Вот это встреча — так встреча! Анна! Я просто глазам своим не поверил.

— А я думала, ты и узнавать-то меня не хочешь.

— Да почему же? Чего ради? — смутился он.

— Ну, как-никак, ты все-таки офицер, а я...

Она перевела взгляд с его золотых погон и белых перчаток на свой грубый фартук судомойки.

— Да что ты в самом деле! — возразил он с некоторым жаром. — Мы ведь были с тобой друзьями детства, а потом, при новом порядке, армия не какая-нибудь обособленная каста... это... как бы... то есть... — он запутался. Наступило неловкое молчание. — Ну, как ты живёшь? — заговорил он наконец.

— Да какая наша жизнь, — отозвалась Анна и тут же рассердилась на себя за свой насмешливый тон. Дружелюбный гораздо лучше. Кто знает? Может быть, от лейтенанта ей удастся раздобыть ценные сведения? Но она просто была не в

силах говорить с ним иначе. — А ты, конечно, процветаешь? — добавила она.

Выдра смущённо заморгал.

— Да, знаешь... — начал он запинаясь. — Пожаловаться не могу. Особенно теперь. Ведь я назначен офицером связи при здешнем немецком штабе... да,—он откашлялся и продолжал увереннее:— У нас теперь есть постоянные представители словацкой армии при всех крупных немецких соединениях. Ну, и ты понимаешь... уже не говоря о том, что офицер связи может многое сделать для своих. Не пойми меня, пожалуйста, превратно: наши немецкие коллеги держат себя в высшей степени корректно,—словно отрапортовал он, увидев, что губы Анны насмешливо дрогнули. — И наш долг понять их, понять, к чему они стремятся...

Анна вертела в руках кувшин.

— Ты знаешь крестьянскую поговорку: сколько с быком ни бьёшься, а молока от него не добьёшься.

Лейтенант запротестовал:

— Нет, нет, ты в корне не права.

Анна улыбнулась.

— Что вижу, по тому и сужу... И потом... — Ей хотелось прибавить: я и сама испытала... Но она промолчала.

— Уверю тебя, Анна, ты ошибаешься, — решительно заявил Выдра. Он занялся своими перчатками, к которым кое-где пристали конские волосы. Аккуратно снимая их по одному, офицер, помолчав, продолжал: — Просто ты очень мало знаешь наших немецких друзей, в сущности — ты их совсем не знаешь. — Он сдул последний волосок и поднял голову.

Анна молчала.

Но тут его разглагольствования были прерваны. Из дома кто-то рывкнул по-немецки:

— Лейтенант Выдра! Где лейтенант Выдра?

— Здесь! — отозвался лейтенант, стараясь от-
вечать таким же рязжающим голосом.

— Что, сено для наших лошадей реквизи-
ровали? — продолжал тот же голос.

— Так точно. Уже здесь.

— Так куда же вы провалились, чорт вас
возьми?

— Иду, господин обер-лейтенант! — И Выдра
звонко щёлкнул каблуками. Он обдёрнул свой
кигель и сдвинул фуражку набекрень. Затем при-
ложил руку к козырьку. — Ну, мне пора... — то-
ропливо пробормотал он. — Дисциплина... Сама
понимаешь... Мы ещё продолжим наш разговор.
Мне нужно поговорить с тобой. Просто необходи-
мо. — Он снова отдал честь, уже на ходу.

«Чудно, — подумала Анна. — Всё ещё бегают,
как когда-то мальчишкой. Точно козлёнок. Только
теперь это уже не игра в разбойники. Он играет
в солдатики. Нацистский солдат!»

Когда Анна вернулась в кухню, экономка дала
ей новое поручение. Она должна была через око-
шечко подавать кушанья в гостиную, где их при-
нимали ординарцы.

Анне была видна часть обедающих. Она узнала
дядю хозяина, сухонького старичка, похожего на
придавленного кузнечика. Рядом с ним сидел не-
мецкий офицер, похожий на студента, почти маль-
чик, с глубоко запавшими тёмными глазами, нерв-
ным ртом и тонкими губами фанатика. Кузнечик
называл его «господин обер-лейтенант» и «господин
адъютант». Затем сам владелец замка, барон Аль-
пари. Его быкообразное тело было втиснуто в
охотничий костюм военного покроя. Барон, зады-
хаясь от астмы, подшучивал над сидевшим против

него седым, как лунь, майором, лицо которого было иссечено шрамами, а левый глаз закрыт чёрным моноклем. Место рядом с майором пустовало, и Анне был виден только зеленовато-серый рукав следующего гостя. Судя по сдержанному гулу голосов, время от времени нараставшему, за столом сидело ещё человека три-четыре. Среди них находился, видимо, и лейтенант Выдра, его голос, жёстко выговаривавший немецкие слова, временами доносился до Анны.

Несмотря на все усилия барона и его дяди, беседа на ближнем конце стола не клеилась. Она ожилилась лишь тогда, когда в ней принял участие новый гость. От Анны ускользнуло его появление. Она увидела его, когда уже он сидел рядом с майором на не занятом до этого месте. В его облике, в том, как он покачивал бритым жёлтым черепом и надувал, смеясь, обвисшие щёки, было что-то, вызывавшее в Анне такое же омерзение, какое она испытывала в детстве при виде змеи. Лишь спустя некоторое время она отдала себе отчёт в том, что он одет в чёрный мундир эсэсовца. Именно эсэсовцы пытали её мужа и замучили его до смерти. Воспоминание поразило её, как удар камнем. Она с большим трудом овладела собой и поспешно поставила на окошечко поднос, который ей только что передали. Звон фарфора привлёк внимание обедающих.

— Ничего не разбилось? — осведомился кто-то.

— Ничего, — отозвалась Анна. Её голос был спокоен, и даже руки больше не дрожали, когда она передавала поднос вестовому. Только в ушах неутомочно шумело. Прошло несколько минут, пока утих этот шум.

А разговоры за обеденным столом продолжались. Откинувшись на спинку стула и слегка рас-

качиваясь, эсэсовский капитан изводил взмокшего от пота хозяина рассказами, которыми любят щеголять гестаповцы.

— Так вот, — доносился до Анны его голос, — а тут ещё эта история с арсеналом в Брно. Как мы получим стволы гаубиц оттуда, так они всегда оказываются самого низкого качества. На фронте они приходили в негодность после пятидесяти—шестидесяти выстрелов. Типичный случай саботажа. Мы сменили инженеров и стали наблюдать за отливкой стали, — в Витковицах эти негодяи как-то раз просто подбавили серы в сталь. Но в Брно нам никак не удавалось накрыть саботажников. В конце концов я подсунул в цех одного из лучших наших агентов, некоего Эвальда Радзивильского, — стреляный воробей — награждён Орденом крови, — его дают, как вы знаете, только ветеранам мюнхенского путча. Мы звали его, — почему, уже не помню, — «покойник Эвальд». Здорово, правда? — Капитан оглушительно расхохотался и посмотрел вокруг, ожидая поддержки. Но к его смеху только дядя барона присоединил свой сухонький смешок. Капитан продолжал рассказ: — Так вот, этот «покойник Эвальд» ищет целых полгода и ничего найти не может, а стволы попрежнему дают трещины. Он уже готов был бросить это дело, но в последний момент ему посчастливилось напасть на одного чешского мастера — такой, знаете, старый хрен, любитель выпить. К счастью, у нашего Эвальда был в руках кой-какой материал насчёт старикашки — какие-то дела в больничной кассе или что-то в этом роде. «Покойнику Эвальду» удалось развязать ему язык — немножко подпоил, немножко припугнул, — при этих словах капитан хлопнул себя по голому черепу и снова оглушительно захохотал. — Словом, этот красавец проболтался. И знаете, господа, что они придумали? Просто — до гениальности. Как вам извест-

но, рабочие теперь завтракают в цехах, так как перерыв на завтрак упразднён. Ну вот: они усаживаются у своих станков, и когда пьют пиво, то сдувают пену на раскалённые стволы. Детская игра. Следов никаких, а стволы испорчены. Сталь остывает неравномерно, а неравномерно остуженная сталь не выдерживает давления газов при выстреле. Ловко? А? Мы, разумеется, расправились с ними. Каждого десятого поставили к стенке, а человек пятьдесят отправили в лагерь. Но, по моему глубокому убеждению, этого было мало. При первой же возможности они опять примутся за свои фокусы. Будь моя воля, я бы всех отправил к праотцам в назидание всему славянскому сброду. Как вы полагаете, барон? Это ведь единственное радикальное лекарство, не так ли? Вы ведь должны хорошо знать эту пресловутую славянскую душу, хе-хе!

Он перегнулся через стол и опять заблеял, глядя в упор на хозяина дома. На лице барона изобразился испуг, и он стал похож на жирную белку, неожиданно наткнувшуюся на хорька.

— Не... не знаю, капитан Дегенфельд, — пролепетал барон. — Мне не приходилось иметь дело с саботажниками... Да и не верится, чтобы в наших местах... Тут народ, в сущности, предобродушный.

— Что вы плетёте? — прервал его капитан. — Не станете же вы утверждать, дорогой мой, будто словаки вдруг воспылали любовью к нам?

— Ну, назвать это любовью, пожалуй, нельзя...

— В том-то и дело! — Движением руки капитан как бы стёр все возможные возражения, бывшие и будущие. — Если эти скоты не выкинули пока никакой штуки, то или потому, что не представилось случая, или ловкости нехватает. Но это не мешает нам вздёрнуть на ваши великолепные сосны с десяточек благонамеренных особ обоого

пола в виде профилактической меры. Однако я вижу, — продолжал он насмешливо, обернувшись к похожему на мальчика обер-лейтенанту, который барабанил десертной ложкой по столу, — я вижу, что спять топчу салогом благородные чувства господина адъютанта. Верно, Кестер?

— Это не имеет лично ко мне никакого отношения, — запальчиво ответил обер-лейтенант.—И никакого отношения к чувствам или благородству. Дело в другом: как представители великой германской империи и «нового порядка» мы даже в шутку не можем допускать мысли, что наше обращение с другими нациями несправедливо... Оно глубоко справедливо, хотя и сурово.

— Хорошо поёт... — саркастически отозвался капитан. — Но осмелюсь спросить моего собрата по партии Кестера, что он называет справедливым?

— Всё, что служит интересам Германии.

— Правильно. А что больше всего служит интересам империи? Её сила и власть и их беспощадное применение. Ложка власти дороже, чем бочка права. Никакие слизняки-интеллигенты, никакие философы не разубедят меня в этой истине.

Обер-лейтенант готов был вскипеть, но майор, хранивший до сих пор невозмутимое молчание, вмешался в спор.

— Господа, — сказал он, гнусаво растягивая слова, — разрешите вам напомнить наше золотое правило: избегать всяких споров и препирательств за столом. — Поправив свой чёрный монокль, он посмотрел здоровым глазом сначала на капитана, затем на обер-лейтенанта.

Оба безмолвно отвесили поклон.

Последовало короткое молчание. Затем барон и его дядя начали как ни в чём не бывало разговор о лошадях. Вдруг откуда-то со двора донёсся шум, крики и топот бегущих людей. Обер-лейтенант

вскочил. Он бросился было к двери, но Выдра уже опередил его и просил у господина адъютанта разрешения узнать, что случилось. Едва он взялся за ручку, как кто-то распахнул дверь с другой стороны. Вбежал фельдфебель и торопливо доложил, что фура с реквизированным сеном горит.

Все повскакали с мест.

Эсэсовский капитан первый пришёл в себя.

— Дождались,—протянул он, с особой тщательностью стряхивая пепел папиросы себе в горсть. — Действительно, здешний народ предобродушен. — Он раздавил папиросу в кулаке, выпрямился и продолжал совсем другим, официальным, тоном: — Мне кажется, факт налицо. Это саботаж. Мы немедленно же примем необходимые меры, допросим всех служащих, произведём обыски, арестуем подозрительных лиц и назначим военно-полевой суд. Обер-лейтенант Кестер! Удвоить караулы! Лейтенант Выдра... — капитан остановился, увидев, что лейтенант не слушает, но смотрит, не отрываясь, на стену. Капитан повысил голос: — Лейтенант Выдра!

Словацкий офицер оторвал свой взгляд от стены, от окошечка, от глаз Анны, вызывающих и настойчивых, ведущих с ним безмолвный разговор. «А ну-ка покажи, — говорили эти глаза, — правда ли то, что ты болтал о своих прекрасных отношениях с господами немцами и о помощи своему народу?»

— Сейчас невысказано... — отвечали глаза Выдры.

— Я так и знала, что всё это — только слова.

— Но, Анна...

— На попятный? Да?

Глубоко переведев дух, Выдра сделал три шага вперёд, вытянул руки по швам и смиренно попросил, чтобы ему доверили расследование происшествия.

— Я могу заверить господина капитана и господина майора, — закончил он звенящим голосом, — что если тут действительно был саботаж, мои соотечественники сами отыщут и укажут виновных.

Иссечённое шрамами лицо майора потемнело. Почти не скрывая обиды, он заявил:

— Право решать вопросы, касающиеся расследования, принадлежит капитану Дегенфельду как старшему офицеру охраны.

Капитан-эсэсовец, улыбнувшись загадочной улыбкой, щёлкнул каблуками.

— Я не возражаю против просьбы лейтенанта, господин майор.

— В таком случае дайте ему, пожалуйста, соответствующие инструкции.

Майор сделал полуоборот, вернулся к столу, сел и стал медленно и тщательно вытирать руки салфеткой.

Вслед за ним уселись и остальные, кроме Выдры и капитана. Капитан подошёл к словацкому офицеру и взял его за пуговицу.

— Я надеюсь, лейтенант, что вы будете действовать с умом. Можете приступить немедленно. Меры, о которых я говорил, это позднее... Необходимо вот что: удвоить караулы и сейчас же приготовить список заложников. Выбор заложников предоставляю вам. Желаю успеха.

7. МАХОРКА

Там, на высоте, где Верхний лес, перевалив через горб горы, стоит, словно отдыхая от утомительного подъёма, из земли бьёт шумящий ключ. Извиваясь, он течёт в долину, где сливается с другим ручьём, сбегаящим с противоположного хреб-

та. У слияния обоих ручьёв стоит бумажная фабрика и рабочий посёлок, лежат кучи шлака, вгрызающиеся в жёлто-зелёные ивовые рощи, как злокачественные серые опухоли. Жители прозвали эту фабрику «Мёртвой фабрикой».

Она получила это прозвище в годы кризиса, когда оборудование и машины были проданы, а фабричные здания пришли в запустение и разрушались. Прозвище так и осталось, хотя с началом войны здесь возродилась жизнь.

Спешно были отремонтированы здания, привезены новые машины, часть рабочих была набрана среди местных жителей, часть пригнали издалека. Даже в рабочих бараках были заново сделаны окна, двери и кровли, хотя всё это очень быстро утратило свой новый вид. Дома опять выглядят мрачными и запущенными; они стоят по четыре-пять в ряд и похожи друг на друга, как стёртые медяки.

Хотя две трубы фабрики еле дымят, весь посёлок занесён уныло-серой сажой: и воды слившихся ручьёв, и бельё, висящее на протянутых между домами верёвках, и лица детей, играющих в придорожной грязи, и мундиры часовых, скучающих на улице у полицейского участка.

Иван Шипко спросил дорогу у маленькой девочки и узнал, что дом, который ему нужен, стоит на самом краю посёлка, — рукой подать от участка.

Было ещё светло. Иван поискал трактор. Нашёл его и решил зайти.

В тракторе был только один посетитель. Подперев голову руками, он стоял, облокотясь о прилавок. Он даже не взглянул на вошедшего. Тракторщик, рыхлый человечек в очках, раскладывал,

подбирая по цвету и форме, лежавшие на картонной крышке буро-жёлтые листья, похожие на листья табака.

— Курسو? — спросил Иван, указывая пальцем на листья.

— Ммм... — отвечал владелец, не прерывая своего занятия. Его мычанье могло означать и да, и нет.

— Конечно, журево, — отозвался гость, стоявший у стойки. Он поднял голову, и Шипко увидел прыщавый нос картошкой, отвислые щёки, ржавые волосы и бороду. — Самое настоящее журево. Берёзовые листья высшего качества. Марки «Фюрер». — Он визгливо закудахтал, трясясь, как студень. Его маленькие глазки подмигнули Ивану.

Старик не отвечал. Он здесь чужой, а провокагоры из гестапо, особенно в городах и в рабочих посёлках, так и стараются влезть в доверие к пришлым людям. Они шепчут вам на ушко всякие шуточки, отпускают забористые словечки. Да и трактирщикам нельзя доверять. Ведь разрешение на торговлю спиртными напитками выдаётся гвардией Глинки.

Собака Ивана, казалось, разделяла его подозрения. Она оскалила зубы и зарычала, когда её поманил прыщавый.

— Тихо, Набат! — Иван велел собаке лечь, затем обернулся к хозяину.

— Сливянки — большой стаканчик.

— Нету.

— Что?

— Нет сливянки.

— Ладно, тогда водки.

— Нету.

Наступила пауза. Прыщавый успел ею воспользоваться и так стукнул кулаком по стойке, что

пустые банки из-под пикулей зазвенели. Он снова закудахтал и пропел одну из ходких злободневных песенок:

Всё, что есть у населенья,
Отбирают без стесненья.

Хозяин поджал губы.

— Заткнулся бы лучше! — пробурчал он и, обращаясь к Ивану, сказал: — Всё забрали, вон видишь?.. — И хозяин ткнул пальцем через плечо. На стене над стойкой, между стишками, предостерегающими от участия в политических спорах, и выцветшим плакатом, призывающим покупать облигации «Займа победы», висело объявление командования немецкими оккупационными войсками, гласившее, что на время проведения «кампании по экономии спиртных напитков для наших храбрых солдат» продажа крепких напитков воспрещается, за нарушение запрета — концентрационный лагерь.

— Так, — сказал Иван, — новые правила?

— Ага, с сегодняшнего утра, — отозвался хозяин. Он рассортировал листья и убрал их в шкаф. — У нас есть только содовая да пиво, — заявил он и, не дожидаясь решения Ивана, подставил пивную кружку под кран.

Иван следил, как хозяин по многолетней привычке старательно обтирал этот кран, который, однако, ни за что не желал блестеть, ибо был сделан из какого-то эрзаца, тусклого и шероховатого. Пиво текло тоненькой мутной струйкой.

— А что, много продам я тут? — Иван показал на свою корзину.

— Кто его знает... — Хозяин сдвинул очки на лоб, осторожно стряхнул бежавшую через край пену в глубокую тарелку и чуть долил пива.

Прыщавый снова ввязался:

— Да кому нужны твои плашки да ложки? Вот кабы они у тебя до краёв полны были!

Иван не ответил. Он взял кружку и поднёс к губам. Пиво отдавало чем-то затхлым. Иван невольно скривился.

Прыщавый захихикал:

— Пивцо-то первый сорт! А? Они его, наверно, варят из лавровых венков. Только такие продукты у них и остались. — Он пододвинулся к Шипко. — Ну что молчишь? Скажи что-нибудь! — подстрекал он. Его узенькие глазки хитро поблёскивали. — Небось, думаешь — я из породы вот этих... — Он заложил руки за уши и помахал ими. — Не бойся, браток, я всё равно, как могила, свой — с руками и ногами. Вот спроси хоть хозяина... Эй, Штефко! Верно говорю?

Хозяин ковырял ножом в прокуренных зубах.

— Если бы только ты не так трепался...

Прыщавый подвинулся ещё ближе к Ивану.

— Все эти шу-шу да те-те — один вздор! — крикнул он. — Если они захотят тебя слопать, так всё равно засадят, говорил ты или не говорил! Был у меня такой знакомый, Куринец, из Подгор...

Иван повернулся к нему спиной и мигнул хозяину:

— Сколько?

Он бросил на стойку несколько монет, взял короб и палку и свистнул собаку.

— Подожди, и я с тобой, — крикнул прыщавый, но Иван Шипко уже был за дверью и быстро зашагал по улице.

Иван сначала побывал в разных других домах, предлагая свои товары, и только после этого постучался в дом, указанный ему Анной.

Открыли сейчас же. Длинный тощий мужчина — лицо его в тёмных сенях рассмотреть было трудно — спросил Ивана, что ему нужно. Но едва

Иван раскрыл рот, чтобы произнести пароль, как хозяин потащил его в скудно освещённую кухню, радостно восклицая.

— Так вот это кто! Разносчик!

Тощий тщательно запер дверь. Затем опять повернулся к Ивану.

— Так это ты! — И хлопнул его по плечу. — Как это я не догадался! Что ж, здорово!

Иван тоже признал тощего:

— Ну и ну! Неужели Юрай! Вот встретились! Сколько раз думал я, что-то он теперь делает, наш или не наш этот Юрай!

— Карел, а не Юрай, — поправил его хозяин. — Теперь меня Карелом зовут. — Вокруг его воспалённых глаз задрожали от смеха морщинки. — Ну, как жизнь, старик? Не такой ты, чтобы она тебя одолела! Это и про меня сказать можно. Нет, как я рад, что это ты! Раз это ты, нам никуда и таскаться не надо. Входи-ка сюда!

Он открыл дверь. Они вошли в комнату, служившую одновременно мастерской. Растрёпанный белокурый юноша с девичьим лицом, возившийся над фонографом старого образца, поднялся с низенькой скамейки. Во взгляде, которым он окинул Ивана, была явная неприязнь.

— Всё в порядке, Ян, — успокоил его Карел. — Это старый друг. Когда меня один раз вывели из строя, он целую неделю прятал меня у себя. Другого я бы разве привёл сюда! Ну, знакомьтесь поскорее. Иван, это Ян, мой лучший помощник. — Он снял с ящика лежавшие на нём мешки и подвинул его Ивану. Затем воскликнул, обращаясь к кудлатому юноше. — Можешь спокойно продолжать свою работу, раз я говорю тебе...

Юноша, насупившись, уселся на скамеечку и открыл ящик фонографа. Краем глаза Иван увидел сложную систему каких-то катушек, рычагов и тру-

бок. Интересно! Но Карел не дал ему времени на размышление.

— Ну, за чем дело стало? Отчего ты не садишься? А короб? Что он у тебя, к спине прирос?

Иван погладил рукою подбородок. Взглянул на дверь.

— Я напоролся тут в трактире на одного... не то чтобы я, как говорится, хвост привёл... — медленно пояснил он, — и не думаю, чтобы он видел, как я вошёл сюда, а всё ж, может быть, лучше, если бы мы перетолковали в другом месте. Я боюсь не за себя... — Он сдвинул брови и взглядом показал на юношу.

— А какой он из себя, этот тип? — спросил Карел.

— Да, такой вот низенький, ноги дугой, нос в прыщах.

Карел презрительно повёл плечами и прищёлкнул языком:

— Этот-то? Нет, безобидная козявка. Просто болтает много, не умеет держать язык за зубами. А насчёт этого дома, так тут рядом полицейский участок, место самое безопасное. — Он улыбнулся уголком рта, взял со стола деревянную коробку с папиросами и предложил Ивану.

Иван поблагодарил. У него самого найдётся что курнуть.

— Кое-что особенное, — добавил он. Старик снял короб, вынул из своей кожаной сумки пачку табаку и предложил присутствующим отведать — не каждый день такое угощение бывает. Улыбаясь, он смотрел, как закуривает Карел, и укоризненно покачал головой, когда Ян заявил, что не курит. Пропустить такой случай — грех даже для некурящего. Затем обратился к Карелу, уже успевшему сделать несколько затяжек:

— Ну?

Карел ответил не сразу. Он ещё раз глубоко затянулся. Затем наклонился к Ивану:

— Что за травка такая? И знакомое будто, и не пойму что.

— Махорка!

— Что?

По широкому неподвижному лицу Ивана расплылась улыбка. Мрачно подчёркивая каждое слово, он сказал:

— Русская махорка. Не веришь, — гляди, я обёртку сберёг. Вот. Оно не следовало бы, верно, да иной раз как малое дитя становишься. Вот — видишь русские буквы?

Он вынул из кисета смятый бумажный пакетик и протянул Карелу. Но не успел тот взять пакетик, как юноша вскочил с места и вырвал обёртку из рук Ивана.

— Что? — закричал он. — Значит, они там в горах действительно контакт установили? Давно? Через кого?

Карел постарался утихомирить его:

— Не кипятись, Ян. Дай Ивану сообразиться. И он сам расскажет нам все новости.

Они уселись в тесный кружок. Иван начал рассказывать о горных деревнях, где большая часть домов стоит пустая — столько народу бежало, арестовано, перебито. Гвардейцы Глилки уже не решаются ходить ночью по улицам, а нацисты ходят только группами. И о партизанах в лесу рассказывал он — они организовались в отряды и учатся гранатометанию на деревянных чурках; о контрабандистах, доставляющих продовольствие и оружие; о курильщике махорки, буквально свалившемся с неба, — он инструктировал командиров и создал артиллерийское подразделение; о дымовых

сигналах из Галиции и с Карпатских гор, где партизаны уже начали действовать.

В заключение Иван вынул из короба раскрытую деревянную дощечку.

— Взгляните-ка. Ничего не видите? — Цветочный букет маскировал карту. — Здесь указаны все сборные пункты для пополнений, приходящих из долин, а здесь — информационные пункты для передачи сообщений.

Карел, наконец, оторвался от безмолвного созерцания карты.

— Здорово! — сказал он вставая. — Они, значит, готовятся и будут держать связь с нами! — Он несколько раз прошёлся по комнате, затем остановился перед Иваном. — Ты будешь там опять через несколько дней. Нам нужен дельный человек с гор, чтобы обучить наших и руководить ими, когда наступит время, — а оно может наступить скорей, чем мы ожидаем. — Он повысил голос, чтобы ещё больше подчеркнуть свои слова: — Вы думаете, нацисты спят? Ничего подобного. Они чувствуют что-то. Местное начальство просило подкреплений. Ян перехватил их радиограмму, ему удалось поймать короткую волну, на которой они работают. Да, да, мы тоже не спим.

Он замолк, посасывая трубку и наблюдая за впечатлением, которое его слова произвели на Ивана.

Иван не скрывал своего изумления. — Волну? Вот этой вот штукой? — он ткнул пальцем в фонограф. — А я-то воображал, что это музыкальный ящик.

— По виду это и есть музыкальный ящик. Чтобы глаза отвести. Ян всё это сам придумал и сам сделал. Что, удивлён? А?

— Мгм... да... ловко... сам состряпал? Ишь ты... и не угадаешь... — Глаза Ивана с восхищением остановились на девичьем лице Яна, зарумянившимся, как персик.

— Это только на первый взгляд трудно, — поспешно заметил Ян. — А если знаешь, как и что... Ловить-то уж совсем просто...

Он не договорил. Карел схватил его за плечо и прошипел:

— Тише!

— Что случилось? — спросили в один голос старик и юноша.

Вместо ответа, Карел приложил палец к губам и на цыпочках подошёл к окну. Он прижался ухом к закрытому ставню. Прошло несколько секунд. Сначала чуть слышно, затем вполне явственно с улицы донёсся тяжёлый топот марширующих ног. В этом ритмическом топоте был какой-то металлический призыв.

Все трое переглянулись.

Беззвучно, одними губами, Ян спросил Карела:

— Ге-ста-по?

И Карел ответил так же беззвучно:

— Ещё не знаю.

Шаги остановились около дома. Разом щёлкнули каблуки, словно раздался ружейный залп, задрезжал колокольчик. Кто-то так дёргал звонок, что чуть не рборвал его. Вдруг колокольчик умолк, видимо, проволока в конце концов не выдержала. Сейчас же последовали удары в дверь — глухие и тоже с металлическим призывом.

Иван взглянул на фонограф, затем на окно. Карел перехватил этот взгляд.

— Не выйдет, — ответил он, махнув рукой. — Ни к чему.

На мгновение удары в дверь прекратились. За-

тем начались снова, ещё громче и настойчивее. Колотили и руками и ногами.

— Я пойду открою, — прошептал Карел.

Но в это время дверь из коридорчика в сени отворилась, и зашаркали деревянные башмаки. Сердитый женский голос проворчал:

— Сейчас. Сейчас открою. Господи боже, и чего вы грохочете?..

Женщина отперла входную дверь. В дом вовались топот и звяканье. Женщина взвизгнула. Грубый голос начальственно рявкнул:

— Именем закона!

На миг все звуки стихли, точно проглоченные тишиной.

Трое словаков опять переглянулись. Лицо Ивана было, как всегда, непоколебимо спокойно. Только черты его заострились и потемнели. Карел молча кривил губы. Он улыбался странной улыбкой — спокойной, но зловецей. Ян был бледен. Он взял папиросу из деревянной коробки и неумело раскуривал её.

«Всё-таки курит, — подумал Иван. Он испытывал то своеобразное ощущение освобождённости и необычного подъёма, которое появляется в минуты крайнего напряжения и опасности. — Да, курит. Ну не всё ли равно? А это ещё зачем?»

Но он так и не успел решить, для чего Ян вынул из шкафчика и поставил на стол перед собой помятую кастрюлю. Шум в сенях возобновился. Донёсся гомон нескольких голосов, затем удары, какая-то возня и, в заключение, протяжный вопль женщины:

— А я что могу! Коли он пьяный приходит...

Слова потонули в каком-то клокотании. Затем раздался тупой стук упавшего тела, и снова на краткий миг наступила мёртвая тишина.

Начальственный голос пролаял:

— Вытащить её во двор! Берите за руки, живо, и мужчину тоже! Вперёд, марш!

Снова топот ног и звяканье. Затем с шумом хлопнулась входная дверь. И опять тишина, которую тонким звуком прорезал жалобный писк ребёнка.

— Пойдите! — Карел прскрался в сени. В комнате всё ещё стояла тревожная тишина, как перед грозой.

Ребёнок заплакал громче, затем плач оборвался, ребёнок два-три раза всхлипнул и затих.

Карел уже вернулся.

— Они забрали этого парня из противозвоздушной обороны вместе с женой, — сказал он странным шопотом, словно голос его был засыпан землёй. — Парень оставил свет и ставни не закрыл. Он из гвардии Глинки. — Карел засмеялся всё тем же приглушённым голосом. — Всё бывает на свете. Можешь теперь отдать мне свою папироску, Ян. Нет, пусть лучше Шипко угостит меня махоркой. Да брось ты папиросу, Ян, и кастрюлю для гуляша тоже поставь на место. — Он подмигнул Ивану. — Ты, наверно, дивился, зачем всё это? Я видал, как ты взглянул на него. — Он опять рассмеялся. Теперь его голос был, как всегда, чист и звонок. — Да, да, нас научили ребята, которые из Испании вернулись. А их научили астурийцы-динамитчики: жестяная кастрюля с динамитом и папироса, — вовремя поднести — и всё! Вот. К счастью, сегодня это нам не понадобилось. В другой раз пригодится. Давай-ка, дедушка, покурим твою махорку. Надо побаловать себя.

Карел полез в кiset Ивана и удобно уселся на табуретке.

— Ну, а что у тебя в музыкальном ящике, Ян?

— Ян!

Юноша поднял голову.

— Что, поймал опять?

Юноша снял наушники. — Да, передают новые правила. Насчёт сведений о погоях. Списки совсем публиковаться не будут. Со всеми запросами родные должны обращаться только в центральное бюро. Ясно! Погода меняется. Иной раз с трудом понимаешь их. Они говорят совсем не так, как наши немцы здесь. Приходится напрягать слух всюю.

— Пруссаки, — ответил Карел, попыхивая трубкой. — Ну, скоро получают угощение, останутся довольны! А ты иди-ка посиди с нами.

Они опять уселись в кружок. Молочный дым махорки поднимался к потолку лёгкими кудрявыми облачками, наполняя комнату терпким кисловатым запахом.

8. ПОД ЗЕМЛЁЙ

К стволу дикой яблони, широко раскинувшей ветви над хижинкой угольщика, были прислонены вилы — условный знак, извещавший, что всё благополучно.

Анна вышла из леса на просеку, где стояла хижина Лигатов. Залаяла собака, кто-то прикрикнул на неё низким, слегка дребезжащим голосом. Дверь хижины распахнулась. На пороге появился высокий немного сутулый мужчина с густой бородой и длинными волосами. Он был в овчинном полушубке и валенках.

Высокий мужчина нагнулся, взглядываясь в Анну, и крикнул:

— Кто там?

— Это я, Анна Яника. Скажите, дедушка Литат, Марек и Йошко дома?

— Нету. — Старик прищурил глаза, большие, зелёные, блестящие глаза. Он ещё раз пристально взгляделся в Анну и продолжал: — Только сейчас вышли.

— Только сейчас? — разочарованно протянула Анна.

— Они скоро вернутся, — успокоительно отозвался старик. Он запустил пальцы в свою желтовато-белую бороду. — Входи, девочка, — пригласил он Анну. — Входи! Как ты сказала — зовут-то тебя?

— Анна. Анна, сноха Яники из Расток. Марек разве не сказал вам, что он ждёт меня?

— Эх, да что они мне говорят-то? — жалобно ответил старик. — Скажут — «люди, мол, к нам придут», и всё... Но я бы и так узнал тебя: Ты ведь приходила к моим парням? Верно? Ну вот, ты самая и есть! Теперь я вспомнил. Да, старость. Голова — как решето. Мука проскочит, отруби останутся. Эх! Ну входи, дочка, входи! Не ждать же тебе на дворе, пока мои вернутся.

— А ушли-то они не надолго, дедушка?

— Не надолго! Экая торопыга! — Он задвигал челюстями, словно пережёвывая жёсткий кусок. — И всё вы торопитесь, молодёжь. Всё вам некогда. А я иной раз не знаю, куда время девать. Только, я вижу, ты очень гордая. Брезгаешь посидеть со мной в доме!

— Что вы, дедушка! — Анна быстро подошла к старику. Он взял её за руку, как маленькую девочку, и повёл через тёмные сени в кухню. Костлявые стариковские пальцы были, как покрытые корою холодные сучья. Анна почувствовала даже озноб.

Старик, вероятно, это почувал и выпустил её руку. Он улыбнулся, открывая коричневые прокуренные зубы.

— Да, да. Когда перевалит за восемьдесят, кровь-то потихоньку остывает. Я, бывало, купался в озере на Новый год.. Сделаешь прорубь, да и сигнёшь туда. А теперь к огню жмёшься.. Иной раз так, кажется, и заполз бы в самое пламя. Вот, садись-ка поудобнее на эту скамью, у меня найдётся и угощение. Дай мне только минутку похозяйничать.—Он пододвинул трёхногую табуретку к огню и стал разгребать горячую золу щипцами. Комнату наполнил аромат печёных яблок. Обструганной щепкой старик проткнул самое крупное и поднёс Анне. — На-ка, дочка, ешь. А потом можешь потолковать со мной.

И он погрузился в свои думы.

— О чём задумались, дедушка Лигат?

Анна не получила ответа. Казалось, словам надо было сначала пройти долгий путь, преодолеть много препятствий, прежде чем они дойдут до Дано Лигата. Он поднёс руку к большому увядшему уху. Медленно возвращался он к действительности.

— О чём задумался, дочка? Ох, мои думы, что листья на ветру. — Он стал чертить прутиком на полу какие-то узоры. — Ну вот, скажи ты мне! Вы, молодёжь, такие учёные. Скажи ты мне, дочка, что это на свете творится? Не нажрались ещё доотвалу немецкие баре? Всё ещё подавай им каждый день новую победу? Ещё не лспнуло у них брюхо?

— Ещё нет, дедушка, но скоро лопнет!

Старик пожевал губами.

— Скоро, скоро... — пробормотал он. — Сколько раз уж я это слышал! Соловья баснями не кормят.

— Нет, нет, теперь по-иному пойдёт.

Дано Лигат поднял голову. Анна заглянула в такие же, как у Йошко зелёные кошачьи глаза его прадеда. Крошечные искорки в них вспыхивали беспокойно. Анна собиралась сказать больше, выразиться точнее. Но передумала и только повторила:

— Вот увидите, всё пойдёт по-иному.

Лигат опустил голову. Снова стал водить по полу прутиком. Пляшущие отблески пламени падали на его высохшее пергаментное лицо. Глубже чернели впадины под скулами, и чётким рельефом выступала сеть мелких жилок на жёлтых висках.

Вдруг старик швырнул прут в огонь.

— Так, — протянул он. — Значит, по-твоему, на этот раз иначе будет. Гм... Хорошо бы. Давно пора. А то, знаешь, ненависть без драки, всё равно, что лето без солнца или мясо без соли... Да ты расскажи-ка мне, дочка, побольше. Выкладывай, что знаешь, не скупись. — Он выжидательно посмотрел на Анну и, не дав ей собраться с мыслями, вдруг раскипятился: — А... а... Ты, видно, не хочешь мне ничего сказать. Вы меня уже выкинули на помойку! — он вскочил, опрокинув табуретку. Его руки и борода тряслись.

Анна принялась успокаивать его:

— Да что это нашло на вас, дедушка?

Он весь побагровел — до корней белоснежных волос и, размахивая руками, сердито заковылял по комнате.

— Нет, — кричал он, — не отговаривайся! Все вы на один лад. Я для вас пустое корыто, всё от меня в секрете держите? Да, да, да, думаешь, я ничего не примечаю? Ого!

Он задохнулся. На дворе хрипло залилась собака — отчаянный бесконечный лай.

Дано насторожился.

— Это не они, — ответил он на немой вопрос

Анны. — Чужой, верно, и не друг. — Он прикрикнул на собаку: — Тихо, Волк, я иду.

Дано зашаркал из кухни. Анна слышала, как он, загремев чем-то, прошлёпал через сени и открыл дверь избы.

— Волк! — крикнул он ещё раз. — Волк! Смирно! Но лай становился всё свирепее. Собака надрылась от ярости.

Незнакомый обозлённый голос проревел:

— Убери своего пса, старый дурак, не то я...

В ту же секунду прогремел выстрел. Анна вздрогнула и замерла. Страх перед неизвестностью, подкравшейся к стенам дома, вставал и разрастался в тишине, последовавшей за выстрелом. Но эта тишина длилась недолго. Собака снова залилась лаем, как видно, она осталась цела и невредима. Должно быть, ничего не случилось и с Дано Лигатом. Голосом, срывавшимся от гнева, старик крикнул:

— Молчать, Волк! Что вы делаете? Разве так можно? Стрелять в собаку на цепи!..

Хриплый, наглый голос возразил:

— Эта дрянь просто взбесилась! Поганого ружья жалко — пристрелить её.

— Вы поосторожнее с ружьём-то, господин лесничий.

— Что это значит?

— Ничего. Я только говорю — не полагается стрелять так, здорово живёшь.

— Плевал я на тебя. Моё дело стрелять или нет, а не твоё, чортова перечница!

С минуту длилось молчание. Собака опять было зарычала, но Дано успокоил её коротким возгласом: — Молчать, Волк! — Резкий крик сойки раздался два раза, один за другим. Затем наглый голос продолжал:

— Где угольщик?

— У нижних печей.

— Не ври! Я только что оттуда. Никого там нет, возле печей, и они дымят слишком сильно. Опять будет больше золы, чем угля.

— Что ж, господин лесничий, человека в печь не посадишь. Всегда может случиться, что тяга слишком сильная или слишком слабая. Это со всяким угольщиком бывает.

— У вас это бывает слишком часто.

— На что вы намекаете, господин лесничий? Я не знаю.

— Не знаешь? Будто! Ну, так слушай, что я тебе скажу, старый враль! Если у тебя в этом месяце не будет постоянный человек при печах и вы не сдадите угля, сколько полагается, тебе придётся прокатиться в Свияву, в концентрационный лагерь. Надеюсь, теперь понятно?

— Нет, господин лесничий.

— Хорошо, пусть твой сын тебе объяснит... С кем это ты разговаривал сейчас в доме?

— Я? В доме?

— Слушай, старая лиса, если ты собираешься влять, так лучше брось. Я своими глазами видел, как недавно по просеке шла женщина и свернула сюда.

— Ну, коли вы всё знаете, господин лесничий, так нечего меня и спрашивать.

— Заткнись! Спрашиваю, что хочу. И советую отвечать правду... Брось враньё. Понятно? Кто эта баба?

— Племянница сестриной дочери. Принесла мне яблоки. Я испёк их.

— Ну ещё бы! Яблоки она тебе принесла! Только за этим и явилась?

— Да. Я не знаю, чего вы хотите от меня господин лесничий. Не верите, так войдите, сами увидите.

— Подумаешь, новости,— и Марек взмахнул рукой, словно отшвырнул угрозу лесничего. — Не стоило передавать. Я видел, как он лазал вокруг печей. Только за этим и приходил?

Старик поскрёб затылок.

— А что? Тебе мало... Потом, — добавил он, помедлив, — спрашивал ещё, кто она. — Он указал глазами на Анну.

Марек запустил все десять пальцев в свою густую чёрную бороду.

— Ага! — воскликнул он. — Я так и знал! Этот негодяй слонялся тут вовсе не из-за угля. Ты, надеюсь, был с ним осторожен, отец?

Старик вскипел:

— То есть это насчёт чего?

Вмешалась Анна:

— Твой отец очень хорошо ему отвечал, Марек. Как настоящий конспиратор... В самом деле, дедушка, вы здорово отшили его.

Старик покачал головой. — Ну, ну... а почему бы и нет? — отозвался он, польщённый, но всё ещё сердясь. — Разве я не могу ответить этому мошеннику как следует и без вашей конси... конспи... Ну да ладно... как её там. Ты думаешь, один ты только всё понимаешь? Хорошее дело, нечего сказать!

Он повернулся спиной к обоим и продолжал бурчать себе в бороду.

— Да что ты, отец, у меня и в уме не было обидеть тебя! — старался успокоить его Марек. Он говорил вполголоса, громким шопотом: — Теперь нам с Анной надо уйти. Если этот прохвост вернётся, а я уверен, что он опять сунет сюда свой нос, постарайся, отец, удержать его подальше от заповедника. Там ему сейчас не место. — Марек просительно посмотрел на Анну и увидел, что она встала и повязывает голову платком. — Значит, пошли. — Он вышел первый. — Ну, чего ты там

застряла? — крикнул он с крыльца, не видя Анны. — Отчего не идёшь?

— Сейчас! — откликнулась Анна. Преодолевая нерешительность, она сделала шаг к старику, который стоял, всё ещё отвернувшись, и положила ему руки на плечи: — Дедушка Лигат!

Он покосился на неё, не поворачивая головы.

Но Анна не отступала. Она поднялась на цыпочки и шепнула ему в большое волосатое ухо:

— Дедушка Лигат, я только хотела вам сказать, что вы нам очень будете нужны, вы даже сейчас нам нужны. Но уж такое у нас правило: когда мы обсуждаем что-нибудь, допускаются только те, кого это касается непосредственно... и для безопасности, и вообще... Это, например, исключение, что я сегодня тоже участвую. И потом... в самом деле очень важно, чтобы кто-нибудь здесь оставался да следил за лесничим. Уверяю вас, дедушка Лигат, это очень важное поручение...

— Про что толкуешь? — сердито пробурчал Дано, прервав Анну и избегая её взгляда. — Думаешь, я опять младенцем стал и можно меня разыграть?

— Ничего подобного. Я говорю совершенно серьёзно.

— Будет уж! Да я тебя насквозь вижу! Беги, беги, слышишь, Марек там бесится! Важное поручение! Совершенно серьёзно! Ишь какая хитрая!

Уходя, Анна ещё слышала его воркотню, но в уголках его глаз дрожал смех и таилось глубокое и трогательное волнение.

Перед домом Марек возился с собакой. Чтоб я тебя не слышал, Волк! — поучал он её, снимая с цепи.

Анна подошла к нему.

— И собаку берёте?

— Ну да. Она натаскана... как охотничья, делает стойку, только почует чужого. Почему ты задержалась? Старика умасливала?

— Умасливала? Нет. Я сказала ему, что он нужен и может делать для нас очень полезное дело. Никого не надо восстанавливать против нас, Марек, тем более своих!

Угольщик оторопело посмотрел на неё.

— А ведь ты права, — согласился он, хлопнув себя по затылку. — Иной раз позабудешь... Ну, пошли. — Он щёлкнул языком, подавая знак собаке, и та побежала впереди.

— В старый лес? Да? — спросила Анна. — Не туда, где раньше водку гнали?

— Туда. Удобное место. Йошко уже натаскал свечей и мешков. Будет сухо, тепло, светло и безопасно. Не отставай. В лесу темно.

— Я дорогу знаю.

— Всё равно, лучше держаться вместе.

Кончилась просека, где уже лежали тени поздних сумерек. Перед путниками, как отвесная чёрная скала, стоял лес. Скала раскрылась и поглотила их. Пахло гнилью гораздо сильнее, чем днём. Резкий ветер будил сотни ночных звуков. У Анны сердце забилось чаще. Она старалась не отставать от Марека, но это было нелегко на узкой тропке, покрытой многолетним слоем скользких игл.

Марек шёл уверенно и быстро, как при свете дня. Раз он остановился, как вкопанный. Анна наткнулась на его вытянутую руку, потеряла равновесие и чуть не упала.

— Что такое, Марек?

— Ничего. Запах дичи.

Они пошли дальше. На них надвинулся заповедник; невысокие деревья, серея, чуть выступали из темноты. Марек снова остановился. Приложив руку ко рту, он издал протяжный крик, подражая голод-

ной сороке. И в тот же миг такой же крик раздался с верхушки дерева над ними. Какая-то тень скользнула вниз по стволу сосны и подошла к ним.

— Ты, Иошко?

— Всё благополучно. Они внизу... дожидаются.

Длинные серовато-белые клочья тумана пронеслись над низкой порослью заповедника. Иошко, шедший впереди, вдруг наклонился и исчез, словно его поглотила земля. Только подойдя совсем близко, Анна разглядела квадратное отверстие под полуоткрытой поросшей мхом откидной дверью, а в отверстии — голсу Иошко с кожною спутанных волос.

— Давай ногу, — сказал он. — Я помогу тебе сойти.

Анна хотела ответить, что она и сама может, но Иошко уже схватил её за щиколотку и поставил её ногу на ступеньку.

— Спасибо, Иошко. Теперь я сама.

— Имей в виду — двадцать ступенек. Восьмая шатается.

Иошко исчез в чёрном колодце. Анна последовала за ним. Ступени шатались и скрипели. Дойдя до низу, Иошко тихонько свистнул. В светлосером квадрате отверстия Анна видела над собой силуэт Марека. Он ступил на верхнюю ступеньку, приказал собаке остаться и сторожить и захлопнул за собою дверь. Вместо светлого четырёхугольника осталась едва уловимая щель. Мрак казался почти осязаемым. Анне чудилось, что она сползает по печной трубе и у этой трубы нет конца.

Она машинально считала ступеньки:

— Восемнадцать... девятнадцать... двадцать...

Когда она, наконец, ступила на землю, всё ей казалось странным, как в сказке. Иошко взял её за руку.

— Пойдём, только наклони голову, а то стукнешься!

Анна сгорбилась и стала пробираться за ним. Они прошли вдоль шершавой стены, покрытой каплями сырости. Дальше подземный ход сделал поворот; сквозь занавеску из мешковины сочился свет.

Июшко раздвинул занавеску.

В низкой сводчатой полупещере-полукомнате с когда-то оштукатуренными, а теперь облупившимися стенами две женщины сидели на грубо сколоченной скамье. Разбитые перегонные кубы, погнутые обручи и отдельные части пресса валялись по углам. На гладком деревянном чурбане посреди комнаты стояла бутылка с воткнутой в неё сальной свечой.

При появлении Анны обе женщины встали и поздоровались с ней за руку.

— Слава богу, что ты пришла, — сказала крестьянка со светлыми, скромно зачёсанными назад волосами и широкобровым веснущатым лицом. — А то сидишь без дела, — сырость так и пробирает до костей.

Марек, вошедший следом за Анной, рассмеялся.

— А вот и лекарство! — Он вытащил из-под овчинной куртки бутылку водки и стукнул доннышком о ладонь. Пробка вылетела. — Вот, Марина Крижанова, пропусти глоточек, очень помогает против ломоты в костях! — Он отёр рукавом горлышко бутылки и протянул веснущатой женщине. — Пригубь, золотко моё! Настоящая. Смотри, плясать начнёшь!

Веснущатая отхлебнула, зажмурилась и тряхнула головой:

— Ух! И крепкая же!

Она открыла глаза и возвратила бутылку Мареку.

Марек отёр горлышко рукавом и предложил Анне. — Твоя очередь. А?.. Да, забыл... Ты теперь

непьющая. Хотя от глотка ни тебе, ни будущему сынку никакого вреда не будет. Ну да тебе виднее. А ты, Блюмеле? Как ты на этот счёт?

Блюмеле была стройная девушка с чудесными синими глазами; но лицо её портил сломанный нос. Она неловко поднесла бутылку к губам, отпила, пролив немного прозрачной жидкости, и смущённо поставила бутылку на чурбан.

— Эх, ты, безрукая! — воскликнул Марек с приторным ужасом. — Проливать небесную росу! Давай-ка сюда! — Он взял бутылку, отметил ногтем, куда хотел выпить, закинул голову и выпил точно до отметины. Затем с удовлетворением констатировал: — Вот! Это я называю ценить божьи дары. А с вас, бабы, что требовать... Хорошо ещё, что вы годны на другое... — Марек поймал предостерегающий взгляд Анны и сунул бутылку под куртку. — Хватит пить да болтать. Давайте займёмся делом. Пойдём, Йошко, помоги мне подтащить пресс к столу, на нём сидеть можно. А на скамейке найдётся место и для Анны, если вы потеснитесь, — обратился он к женщинам.

Все уселись, и Анна сразу же начала говорить о работе новой группы «Д», в которую войдут Марек, Йошко и обе женщины.

Анна старалась передать как можно точнее те инструкции, которые дал ей прочесть Карел в Верхнем лесу, и по очереди обводила взглядом слушателей.

Марина Крижанова сидела неподвижно, выпрямившись, и слушала внимательно, напряжённо. Блюмеле наклонила голову, оперлась лбом на руку и чертила что-то на клочке бумаги. Йошко, поджав под себя одну ногу, раскачивался взад и вперёд. Его верхняя губа приподнялась, открывая острые

белые зубы. Марек медленно водил пальцем по краю чурбана, служившего им столом. Брови его были сдвинуты, губы шевелились. Когда Анна кончила, он вытянул палец, прищурил глаз, словно целясь во что-то, и сказал:

— Нам понадобится оружие — по револьверу на человека, а может быть, и ручной пулемёт.

— И ручные гранаты, дедушка, главное — ручные гранаты! — воскликнул Йошко. Его искрящиеся глаза сузились и стали, как щёлки.

— Оружие нам обещали, — с уверенностью сказала Анна. — Когда придёт время, мы его получим.

— Гм... когда придёт время. Нечего сказать! — заволновался Марек. — А когда женщины будут учиться стрелять?

Анна не знала, что ответить. На помощь ей пришла Марина.

— Ты не кипятись, Марек, — спокойно заметила она. — Вырежь нам эти штуки из дерева да покажи, как обращаться, вот мы и научимся.

Анна посмотрела на Марину. Наряду с мучительно напряжённым вниманием на её лице появилось выражение твёрдой решимости, непоколебимой уверенности. Анна вспомнила, как эта тихая крестьянка, которая не знала когда-то ничего, кроме мужа, ребёнка, десятка кур да козы и для которой весь мир кончался за деревенской околицей, — как эта женщина однажды явилась к Блюмеле с аспидной доской и грифелем, чтобы научиться «книжки читать и писать, что надо». Когда её спросили, зачем ей это, она ответила: потому что пришло время завести на свете другие порядки, а для этого мы сами должны за дело взяться.

У Блюмеле, вероятно, мелькнули те же мысли, что и у Анны. Она подняла голову и наклонилась вперёд с оживлённым лицом:

— Можешь не беспокоиться насчёт Марины,

Марек. И насчёт меня тоже. А вообще оружие необходимо, очень необходимо, но я вот спрашиваю себя: было бы у нас оружие уже сейчас, и нам сказали бы — начинайте, что бы мы сделали прежде всего? Я хочу сказать, что было бы главнее всего? Понимаете? Какой наш план? Ведь план-то должен у нас быть, ведь без него нельзя? — Она посмотрела вокруг и, не получая ответа, обратилась к Мареку: — Что ты на этот счёт думаешь?

— Гм... да... план... оно конечно. Гм... — он прочесал пальцами густую бороду. — Верно... план должен быть... или у тебя, может, уже есть этот план?

Блюмеле кивнула:

— Ещё не настоящий план, а так... Да вот взгляните. — Она взяла бумажку, на которой чертила, и положила её на середину чурбана. — Вот, что это такое?

Все наклонились над бумажкой, рассматривая рисунок, но никто не произносил ни слова.

Наконец Йошко нарушил молчание:

— Паутина, что ли, да?

— Верно, паутина. — Блюмеле откинула волосы, падавшие ей на глаза. Её лоб порозовел, и на скулах горел румянец. — И если мы захотим порвать эту сеть, откуда мы начнём? — Она снова обвела взглядом всех и сама ответила: — Оттуда, где сидит паук. — С этими словами она так энергично ткнула карандашом в воображаемого паука, что кончик сломался. — Где сидит паук! Понятно? А где сидит паук в нашем районе? В имени Альпари. Там у нацистов штаб.

Блюмеле замолчала. Марек вскочил и, обернувшись к выходу, стал прислушиваться.

На миг все замерли, как стадо овец, на которое упала тень горного хищника.

Ни звука. Только черви точили гнилые доски развалившихся бочек.

Анна потянула Марека за рукав:

— Что там? — Её брови вопросительно поднялись.

Марек сделал неопределённый жест. — Как будто собака твякнула... Вот опять! Слышите?.. Или мне почудилось?

— Почудилось! — заявил Иошко. Он тоже прислушивался. — Но если хотите, я сбегаю взгляну. — Он вскочил и побежал к лестнице.

Иошко отсутствовал недолго.

— Всё в порядке, — доложил он. — Я вылезал наверх. — Иошко подошёл к чурбану. — Вот, я прихватил аппарат. — Иошко поставил рядом со свечой коротковолновый приёмник в жестяном ящике. — Я думал, попробуем нынче вечером... Или не хотите?

— Конечно, хотим! — воскликнула Анна. — Ведь вот головы! Чуть было не забыли! Только сможем ли мы ещё поймать что-нибудь? Не поздно?

— Нет, очень возможно, что и поймаем, — заявила Блюмеле. Она потянулась к приёмнику. — Дайте-ка, я попробую.. Иошко, держи проволоку вот тут... Так, хорошо.

Блюмеле принялась вертеть ручку. Слышен был какой-то треск, завывание и свист. Звуки то усиливались, то почти совсем замирали. И больше ничего.

Все были разочарованы.

Марек сказал:

— Нам бы кого-нибудь посадить тут хоть на несколько часов в день... ловить самое важное. Только вот кто из нас смог бы?

Марина потёрла широкий лоб.

— Может быть... как ты скажешь, Анна, — не

мог бы этот твой земляк, ну парень, который у вас теперь живёт, взяться? Я его, конечно, не знаю. Но раз он сидел в лагере... Не сегодня, так завтра он опять захочет работать.

— Неплохо придумала, — поддержал её Марек. — Очень даже неплохо. На это дело лучше Петра человека не сыщешь.

— Я и сама об этом думала, — отозвалась Анна. — Только я не знаю... Что ж, может быть... Ты как на этот счёт, Блюмеле?.. Блюмеле!

— Что это? Подождите-ка, я, кажется... — Блюмеле выпрямилась. — А ну, помолчите! Я что-то поймала.

Треск, завывания и свист прекратились, из жестяного ящика доносились гудки — три коротких, затем один длинный: тэ-тэ-тэ, тэээ... Тэ-тэ-тэ, тэээ — позывные знаки «V», символа мщения и победы.

— Слышите? — кричал Иошко, приплясывая вокруг чурбана.

— Ещё бы!.. Да перестань шуметь!

Сигнализация прекратилась. Из ящика раздался далёкий глухой голос. Пятеро людей, усевшихся вокруг чурбана, затаили дыхание. Далёкий голос возвестил:

— Внимание! Внимание! Говорит станция «За право и свободу» на волне в двадцать пять и три десятых метра. Внимание! Внимание!

Это начиналась передача, каждый вечер между шестью и девятью часами выводящая из себя гвардию Глинки и гестапо.

— Внимание! Внимание! Слушайте воззвание словацких бойцов. Братья словаки! С восточного фронта, где мы вместе с нашим союзником боремся против Гитлера, мы приветствуем вас и взываем к нашей изнасилованной и ограбленной родине. Враг ещё силен, но дни его сочтены. Великое на-

ступление начинается. Врага лужно деморализовать, дезорганизовать, бить, уничтожать всеми способами. Сейчас не время плакать, не время ждать. Кровь за кровь! Смерть за рабство! Уничтожение...

Странный чуждый звук неожиданно переплелся с голосом говорившего. Нечто среднее между визгом и воем. Голос затих, но вой продолжался. И он доносился не из ящика, а из-за занавески.

— Собака... — пробормотал Марек. — Я так и знал! Скорее! Гасите свет!.. Юшка, выводи их другим ходом!

Через минуту они вышли на поверхность среди зарослей орешника. Собака подползла к ним, тихонько повизгивая.

— Что там, Волк?

Собака повернула морду к лесу и оскалила зубы. Над чёрными кронами сосен кусок неба окрасился в медно-красный цвет. Порыв ветра донёс горький запах разгоравшегося пожара.

— Печи, — прошептал Марек.

Собака вскочила и бросилась в лес.

9. САРАНЧА

Через глазок во входной двери Дано Лигат смотрел вслед Анне и Мареку, когда они скользили, как тени, по сумеречной просеке и затем скрылись между соснами.

— Ну и девчонка... — пробормотал старик, стараясь напустить на себя строгий вид, хотя никто не мог увидеть его. Стоя за дверью, он слышал, как Анна говорила Мареку, что не следует никого восстанавливать против себя, и его охватило такое

волнение, что он никак не мог с ним справиться.— Кроткая, как голубь, и мудрая, как змий... Да... молодчина! — Он оглушительно высморкался, быстро закрыл глазок и прошаркал обратно в кухню.

Огонь в печи догорел. Дано подложил несколько поленьев, достал из ниши за статуей мадонны пеструю флягу с настоем на маке водкой, взял со стола библию с медными застёжками и уселся на трёхногую табуретку. Он пошарил в золе, ища хорошо пропёкшееся яблоко, нашёл по вкусу и только что собрался откусить кусочек, как с балки над печкой слетела кедровка и села ему на колено.

Нежно воркуя, птица начала забавно качать головкой, будто кланяясь.

— Ага, вот ещё одна девица хочет обойти меня! — приветствовал Дано кедровку. — Здравствуй, здравствуй, — он протянул ей яблоко, и птица клюнула с такой силой в мягкую плоть яблока, что кусочек отскочил и упал наземь. — Что ты делаешь, мотовка! — прикрикнул старик на птицу. — Думаешь, потом ещё дадут? Нет, милоч, давно прошли те времена! А ну-ка, марш отсюда! Пошла ко мне на плечо и больше не лезь! — Он щёлкнул пальцами, кедровка взлетела ему на плечо, взъерошила перья и заворковала. Дано взялся за флягу и стал медленно тянуть настойку, делая передышку после каждого глотка.

— Да, вот уже и глотку закупоривать стало! — сказал он с упрёком, вспоминая, сколько он мог когда-то выпить за один присест без передышки.

Он отставил флягу и раскрыл библию. Страницы побурели от старости. Под строчками тянулись тёмные полоски, оставленные пальцами тех, кто водил от слова к слову.

Шевеля губами, старик с трудом читал по складам:

«Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодородном поле. И делом правды будет мир и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных».

Дано глубоко вздохнул, сразу почувствовав облегчение, но вскоре его опять охватила тревога и нетерпение. Он оторвал глаза от потемневших страниц и уставился в пространство.

Восемьдесят шесть лет смотрели глаза Дано Лигата на расстилавшийся перед ними широкий мир. Они видели австро-прусскую войну 1866 года и Боснийскую кампанию, великий Дунайский поток и великую смерть — холеру — на рубеже нового века, первую мировую войну и венгерские советы, Чехословацкую республику и «новый порядок» с его новой мировой войной.

Они немного устали смотреть на мир и его дела, глаза Дано Лигата, поэтому их взор за последнее время часто обращался вглубь, сиюсь проникнуть сквозь туманную завесу, скрывающую столько лиц и событий.

Да, пусто вокруг него становилось, мрачно и холодно. С некоторых пор это ощущение всё чаще охватывало Дано Лигата.

Десять сыновей было у него, крепкие парни. Сложи эти прутья в пучок — никто не ломает. Но где теперь этот пучок? Где прутья? Кроме Марекка, все они давно скрылись — за морем и под землёю, — чтобы никогда не возвращаться. И ни од-

ного внука не осталось у Дано — последнего сына Марека, «красавца» Андрея», как его прозвали, эти господа из Жилины отправили с войсками на Украину. И вот пропал без вести. Пропал без вести — это могло означать очень многое. Сколько таких пропавших без вести вернулось после 1918 года в мундирах чехословацких легионеров. Но для деда это значило только одно — что Андрей ушёл и не вернётся, так же как девять его сыновей. Ну а правнуки? Они все чужие, кроме одного.

Старик кивал головой, перебирая густые пряди своей бороды. Он улыбнулся. Мысль об Иошко согрела его, он почувствовал себя не таким одиноким. И всё-таки даже Иошко уже ускользал от него. Давно ли — кажется, это было вчера — Иошко затопал своими первыми деревянными башмачками, натянул свой первый лук? А теперь парень заодно с Мареком и Анной занимается секретными делами...

Птица неподвижно сидела на плече Дано, зарывшись клювом в перья. Вдруг она подняла голову, захлопала короткими крылышками и улетела.

Дано протёр глаза. Ведь он плотно закрыл дверь, а теперь она была приотворена. Видимо, кто-то беззвучно открыл её. Вероятно, неизвестный в эту самую минуту наблюдал за ним в щёлку.

— Э-эй! Кто там? — крикнул Дано, и полено, которое он только что взял в руки, с грохотом упало на пол. В сенях раздался шорох, словно кто-то был пойман врасплох и теперь старался улизнуть. — Э-эй! — ещё громче крикнул Дано. — Входи, кто там есть за дверью!

Секунду царило молчание, затем щель расширилась, и вошёл человек с кривыми ногами и лицом старого младенца. На нём была грязная, серо-коричневая меховая куртка, лоснившаяся от

долгой носки; волосы, лицо и руки были такого же цвета, как куртка.

— Ах, это ты, Пасека! — воскликнул Дано. Он хорошо знал бывшего лесничего, потерявшего место из-за пьянства и существовавшего с тех пор неизвестно чем — скорее всего случайной работой, выпрошенной в управлении казёнными лесами. — Как это я не догадался! — Кто же, кроме тебя, заползёт как змея?

— Причём тут змея, дедушка Лигат? — прогнусил, приближаясь к нему, Пасека. У него была странная походка — словно он толкал вперёд свой выпирающий живот. — Случайно проходил мимо, вижу — собаки нет, и дверь отперта.

— Старая история, — прервал его старик. — Ты не можешь пройти мимо чужой двери, чтобы не приложиться к ней ухом, а? Или тебя кто подослал сюда?

— Нет, нет! Что вы! — В протестах Пасеки было какое-то чрезмерное усердие. — Я просто хотел посмотреть, дома ли вы, дедушка Лигат, и как вы живёте. Просто по-приятельски зашёл, вот и всё.

— Вижу я твоё приятельство! А знаешь, — не в пору гость хуже татарина.

— Но, дедушка Лигат, я просто хотел посидеть с вами, если вы одни.

— Я не один.

— Как так?

— Когда человек читает, он не один.

— А вы читали?

— Ага. Писание. Ну, что вылупил на меня глаза, как на привидение! Тебе тоже не мешало бы почитать библию. Там есть кое-что и про тебя.

— Что-о-о?.. — Лицо старого младенца сморщилось от изумления. — Там.. есть про меня?..

— Да, да. Про тебя. И про твоего хозяина, который подослал тебя сюда. И про знатных господ, которые командуют твоим хозяином.

— Я.. у меня нет никакого хозяина, никто не подсылал меня сюда... и никуда вообще... Но я вижу... вы разыгрываете меня, дедушка Лигат... Что ж, ладно, если вам охота пришла пошутить надо мной.

— Эх, ты, дуб, когда это я шутил над тобой? Не имею такой привычки. Будто не знаешь? Что ослабился, как обезьяна? Брось! Совесть, видно, у тебя не чиста, потому и подслушиваешь исподтишка. Сказал? А что я тебе сказал? Вот оно, я нашёл это место, слушай, тут про тебя, про то, что случается, когда люди шляются и вынюхивают насчёт других. — Дано поднял глаза от библии и пронизывающим взором посмотрел на Пасеку. Пасека съёжился под его взглядом. Дано с глубокой убеждённостью добавил: — И про таких, как ты, мошенник. — Он сунул щипцы в огонь, помешал угли, и трепетный свет упал на открытую библию, лежащую на его коленях. Затем начал читать с пафосом громко и веско, подчёркивая каждое слово:

— «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и предатель, которого не предавали».

— Ну, что скажешь, Пасека?

— То есть что?..

— А вот и ответ:

«Когда кончишь опустошение, будешь опустошён и ты. Когда прекратишь предательство, предадут и тебя».

— Теперь ты знаешь!

— Нет... я не...

— Молчи! Я ещё не кончил. Вот, наостри уши.

«И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница; бросятся на неё, как бросается саранча».

С мрачным удовлетворением Дано захлопнул книгу, подышал на медные застёжки и начал протирать их. Вдруг он прервал свою работу. — Ну? Что ты тут потерял? — обратился он к Пасеке.

— Я... я... — Пасека переминался с ноги на ногу, дёргая серые кусты волос, росшие у него из ноздрей, и косясь жадными затуманенными глазами на пёструю флягу, стоявшую возле табуретки Дано.

— Ах, вот что! — Дано вытянул ногу и так ткнул флягу, что она опрокинулась.

Пасека открыл рот, как рыба. — О господи! — пролепетал он.

Дано хлопнул себя по бедрам и раскатисто засмеялся.

— Эх, ты, дубина! Да она давно пустая!

Лицо Пасека ещё более посерело.

— Ага, вот почему Марек и Йошко бродят по заповеднику! Или, может быть... — Он вдруг умолк, гримаса испуга обнажила его зубы. — Что... что... что с вами? — заикался он, поспешно пятясь к двери и прикрывая руками голову.

Дано медленно поднялся и пошёл на него.

— Подожди-ка минутку! Что ты сейчас сказал? — процедил он сквозь стиснутые зубы и схватил Пасеку за плечо. — Почём ты знаешь, где они?

Пасека тщетно старался стряхнуть руку Дано. — Пустите, дедушка Лигат! Ну чего вы?.. Ну, я видел их, Марека и Йошко.. и я вовсе не знал, зачем они там... и... — он замолчал.

— И что? — Дано настаивал, в его голосе была угроза.

— Ничего... Я не знал, что им надо в заповед-

нике, а теперь знаю, — Пасека указал на опрокинутую флягу. — Новый напиток какой-нибудь гонят? Да? — Он заискивающе улыбнулся. — Не беспокойтесь. Я умею хранить тайну. В конце концов, разве я стану губить источник моего собственного снабжения, хе-хе... Ой! Пустите же! Вы мне плечо вывихнете!

Старик с неожиданной силой стиснул плечо Пасеки и не давал ему вырваться.

— Подожди, дорогой, подожди! — шипел он, сдерживая ярость. — Ты мне сначала скажешь, успел ты уже сбегать с доносом или нет? Смотри, правду говори... ты... — Голос Дано затрепетал, срываясь, как пламя свечи на сквозняке: — Говори правду, не то я... раздавлю тебя... раздавлю, как саранчу, как гусеницу! Как гадину! Только слизь останется! — и он толкнул Пасеку к стене, словно собираясь действительно раздавить его об эту стену. Его зелёные глаза потемнели от гнева.

Пасека пробормотал, заикаясь и бегая глазами:

— К... кому я... я... могу... до... донести?

Старик встряхнул его.

— Брось заикаться! Не прикидывайся! Отвечай — да или нет? Сказал ты кому-нибудь, что Марек и Йошко в заповеднике? Да или нет? Слышишь?

— Н... нет... вы с ума сошли, дедуш... нет, нет, клянусь спасением души! Нет!..

Дано с отвращением выпустил его. — Спасением души, негодяй! Чего она стоит, твоя душа? — прорычал он. Затем, охваченный новым порывом ярости, стиснул кулаки и, тряся ими перед самым носом Пасеки, продолжал: — Только заруби себе на носу: если ты солгал...

— Накажи меня бог, коли я вру, дедушка Лигат! Разрази меня на этом самом месте! Я...

Он заметил, что старик не слушает его, и замолчал. Дано выпустил его и вертел пальцами. Затем круто обернулся к Пасеке:

— А где же ты видел лесничего? А? Он там был, что ли?

— Мм... не совсем... Да не яритесь вы опять как бык! Я его повстречал на тропке, он осматривал ограду.

Старик спясть не слушал Пасеку. Его глаза были с тревогой устремлены на дверь.

Но через минуту он опять обратился к Пасеке:

— Мне нужно выйти на минутку, — сказал он. — Подождёшь тут, пока я вернусь. Не вздумай удрать. Только шевельнись — тут тебе и крышка будет. И можешь не подглядывать, куда я иду. Ни к чему. И помни: как я сказал, так и сделаю. — Он повожился за мадонной, затем обернулся к Пасеке, держа в руках новую объёмистую флягу. — На, пей, и чтобы ты был здесь когда я вернусь.

Пасека кивнул, ослабев. Его лицо старика младенца расплылось в блаженной улыбке. — Да меня конями не оттащишь теперь, дедушка Лигат. Можете быть спокойны. — Он с нежностью погладил пузатую фляжку, не спеша вытащил тряпку из горлышка и жадно вдохнул запах спирта. — Господи боже мой, — благоговейно прошептал он. — Вот так зелье!

Он уселся на пол и принялся пить.

Дано застегнул овчинную куртку и надел помятую широкополую шляпу.

— Ну, я пошёл, Пасека.

Отвстом было чмоканье и бульканье.

Когда Дано бросил последний взгляд с улицы в окно, он увидел, что Пасека всё ещё сидит, прижав флягу к губам.

Дано и сам не знал, почему не пошёл тропкой, которая вела прямо к заповеднику, а сделал крюк, выбрав дорогу мимо нижних печей. Можно было подумать, что он, как хорошая браконьерская собака, почуял запах лесничего. Иначе в густеющих вечерних сумерках он ни за что бы не отличил его зелёную куртку от деревьев. Лесничий стоял в стороне от тропинки и пристально всматривался в чащу.

Притаившись в кустах, Дано стал внимательно наблюдать за ним, не зная, что делать дальше.

Издали донёсся отчётливый и громкий крик совы, отдаваясь гулким эхом. Не Юшко ли подавал сигналы? Лесничему тоже звук, видимо, показался подозрительным. Он вынул из ягдташа ночной бинокль и поднёс к глазам.

Дано снова последовал какому-то бессознательному внушению. Шумно продираясь через кусты, он сбежал вниз по склону к печам, до ближайшей из которых было не больше двухсот шагов.

Не переводя дыхания, Дано начал срыгивать с них дёрн, служивший крышкой. Ветер, словно только и ждавший этого, поспешно подхватил и подкинул вверх первые серо-жёлтые языки пламени, вырвавшиеся из отверстия. Вслед за ними вся масса огня с рёвом и свистом взмыла над верхушками сосен прямо в небо среди развевающихся полотнищ чёрного дыма и потоков багряных искр.

Стало светло, как днём.

— Кто там?.. Какой скот?

Дано круто обернулся.

К нему бежал лесничий, лицо его пылало злобой.

Пёс паршивый! Ты что делаешь?

Дано молчал. Упёршись руками в бока, он прищуренными глазами смотрел на лесничего. Лесничий споткнулся и остановился.

— Язык проглотил, что ли? — заревел он. — Я тебя спрашиваю, что ты делаешь?

— Открываю печи.

— Вижу, старый дурак. Я тебя спрашиваю — зачем ты открываешь?

— А вы же сами велели следить за ними. Ну, так ведь в них не войдёшь, пока не откроешь.

— Ах, вот что... Скажите, пожалуйста! И у тебя хватает нахальства... — Лесничий задыхался от возмущения. На губах его выступила пена. — Пёс паршивый! — заорал он, занося руку для удара. — Я покажу тебе...

Словно дикий зверь, старик прыгнул на врага и схватил его за горло.

— Пусти!.. — задыхался лесничий. Лево́й руко́й он старался отодрать пальцы Дано, право́й искал свой охотничий нож... — Пусти... я убью тебя... — Он вытащил, наконец, нож, но у него уже не хватило сил нанести удар. Пальцы Дано с бешеной яростью стискивали ему горло. Лицо лесничего почернело, точно обуглилось. Медленно опустился он на колени. Покрасневшие, налитые слезами глаза вылезли из орбит и померкли. Голова, как обломанная головка чертополоха, свесилась набок. Из раскрытого рта вывалился посиневший, распухший язык.

Дано рывком поднял безжизненное тело и понёс его к печи. Он раскачал тяжёлый груз и швырнул его в огонь.

— Как саранчу! — крикнул он. — Как гусеницу!..

10. НЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

Всякий раз, когда открывалась дверь и горбун Юло входил в кухню, чтобы бросить на пол перед печью охапку только что напиленных сосновых чурок, вместе с ним врывалась струя сырости и холодного ветра, дувшего с польских равнин по ту сторону гор. Ветер завывал вокруг дома, стучал жердями изгороди и швырял сосновые шишки на крышу амбара.

Это был предвестник зимы, заявлявшей о своём преждевременном наступлении. Пётр выглянул через запотевшие стёкла. Небо, тяжёлое, грязное, лежало на верхушках сосен и так близко, что, казалось, его можно рукой достать. В канаве за амбаром клубились клочья молочного тумана. Речка, протекавшая за изгородью и вливавшаяся в пруд, вздулась и гневно клокотала, на гребнях её мелких волн вскипала пена.

— «Трёх волов на пастбище гнал Янко», — вполголоса напевал Пётр сквозь зубы. Он сидел, расставив ноги, на скамье возле печки, прислонившись к тёплым кирпичам, и строгал лучину из сосновых чурок, как делал его дедушка, когда Пётр был мальчиком.

Трёх волов на кладбище гнал Янко,
Трёх волов, чтобы паслись они,
Трёх волов, чтобы паслись одни.

Стружка курчавилась под его ножом и плавно падала на пол, как руно овцы.

На опушку трёх волов гнал Янко...

Анна, примостившись на подоконнике, латала рукав овчинной куртки. Она подхватила:

Люди с сердцем каменным пришли,
Трёх волов с опушки увели.

Анна протянула последнее слово и поднесла к глазам куртку, рассматривая её. Она нашла ещё дырку и снова вдела нитку в иглу.

На траве лежит убитый Янко.

Чуть хриплый голос Анны как будто дрогнул. Но когда Пётр украдкой взглянул на неё, он увидел, что молодая женщина спокойно завязывает узелок на конце нитки и делает первые стежки. Не отрывая взора от работы, она заговорила, как будто просто передавая деревенские сплетни.

— Недалеко от Село партизаны захватили врасплох целую моторизованную колонну — двенадцать грузовиков с продовольствием и боеприпасами. Команда бежала при первом же выстреле.

— Село? — переспросил Пётр. — Это ведь сейчас же по ту сторону границы?

— Да, в Верховине, эти места захватила Венгрия. А позавчера они поймали в Тихо целый продовольственный отряд — двух офицеров, агента гестапо, нескольких чиновников и солдат. Гестаповца и одного офицера они вздёрнули за последние расстрелы заложников. Другого офицера и чиновников оставили тоже в качестве заложников, а солдат отпустили. Крестьяне забрали реквизированное у них продовольствие и, вместе с партизанами, ушли в горы. Из Ужгорода в ту же ночь выслали карательную экспедицию, но в деревне не оказалось ни души.

— А сегодня здесь все уже знают?

— О, мы знаем гораздо больше! — Анна ещё ниже склонилась над шитьём и продолжала с всё возрастающим воодушевлением:

— В прошлую ночь, например, все товарные поезда в северной Моравии были задержаны. Нацисты хотели попытаться, каким образом в цистерны с румынским бензином попадают примеси — от

неё портятся моторы самолётов. А на восточном фронте два австрийских батальона перешли на сторону русских вместе со своими офицерами, только офицерам сначала связали руки, чтобы не было подвоха. А в Праге опять было много арестов, потому что нацистские почтовые голуби попрежнему дохнут от яда. Ну, хватит с вас?—Последние слова Анна произнесла нетерпеливо, повысив голос.

— Вполне!—воскликнул Пётр. Он только теперь начал догадываться о роли Анны. — Все эти новости идут от «тети Марии», верно? Я вижу, вы тоже её знаете?

— Ну да, а что вы думали? — Анна помолчала, вертя рукав куртки, затем сказала быстро и естественно звонко: — Вот нам и нужен человек, чтобы регулярно слушать тетю Марию. Подождите! Можете ответ дать не сразу. Я знаю, вам хотелось сначала передохнуть немного. Я понимаю. И каждый из нас понимает. Жизнь-то у человека ведь одна, и никому не хочется, чтобы она так вот, зря проскользнула между пальцами... Но когда они дохнуть не дают, когда они всё у тебя отнимают и жизнь становится одинокая и пустая, как высохший колодезь... ну тогда человек должен просто забыть о своих собственных желаниях и помогать тем, кто хочет повернуть мир на другую дорогу.

Она замолчала и взмахнула рукой, словно ставя точку.

— Можете мне дать ответ сегодня вечером, когда я приду домой. — Она откусила нитку, надела куртку и, подойдя к зеркалу, висевшему рядом с потемневшей мадонной, аккуратно повязалась большим платком.

В рамке грубой, плотно прилегающей ткани её лицо, смотревшее из зеркала, казалось ещё нежнее и строже, и было в нём что-то, роднившее его с

лицом мадонны. Сходство, должно быть, заметила и сама Анна. Она вышростала из-под платка волнистую прядку волос, и эта упавшая на лоб прядка придала её чертам больше мягкости и женственности.

Пётр наблюдал за ней из-под полуопущенных век. Он испытывал глубокое смятение, его разрывали противоречивые чувства — стыд и жажда спокойствия, и ещё какое-то сладостное и мучительное чувство, в котором он боялся отдать себе отчёт. В его сознании снова вспыхнула мысль: «Она — как горная ель: гибка, и её не согнёшь...»

Он взволновался, сам не зная почему, и, насупившись, снова занялся своими лучинками.

Анна отвернулась от зеркала,
— Хорошо, значит, до вечера, Пётр!

Он встал.

— Я тоже с вами пойду... то есть, если вы не возражаете.

Анна остановилась. — Зачем? — сказала она удивлённо. — В этом нет никакой нужды... и потом... Нет, нет, спасибо, Пётр.

Он снял несколько волосков с рукава рубашки.

— Нет, есть. Такая непогода, что в пяти шагах ничего не видно, а кругом всё кишит нацистской солдатнёй...

Анна прервала его:

— О, к непогоде я привыкла и к нацистским солдатам тоже... По-своему. Нет, спасибо, Пётр, мне не нужно провожатого.

— Ну, если так...

Но разочарование так ясно было написано на его лице, что Анна смягчилась.

— Ну, ладно, пойдёмте, если вам хочется.

Только подождите, не можете же вы идти вот в этом мешке поверх куртки. Я сейчас что-нибудь раздобуду вам.

Она стояла уже перед одним из сундуков, подняла крышку и начала перебирать в нём вещи. Наконец она вытащила овчинный полушубок. Он был коричневатого цвета, довольно поношенный, и на вороте и рукавах вытерт до лоска. Анна нерешительно рассматривала его, в конце концов отложила и снова наклонилась над сундуком. Она извлекла оттуда ещё полушубок, чёрный, совсем новый, на пушистом меху.

Её щёки залил румянец. Оттого ли, что она стояла нагнувшись или от чего другого? Петру казалось, что ею овладело волнение и она прижимает к себе полушубок, как что-то живое.

«Словно ребёнка, — подумал он, — горячо любимого ребёнка или даже возлюбленного».

Но ему не удалось продолжить свои наблюдения. Дверь открылась. Вошёл Юло с охалкой сосновых чурок. Вошёл и вдруг попятился. Чурки посыпались на пол. В его лице, похожем на гротеск, словно в кривом зеркале, но тем более явственнее, отразились страх и ревность. Взгляд перебегал с Анны то на полушубок, то на Петра.

Анна первая нарушила тягостное молчание. Она торопливо подошла к горбуну.

— Вот, Юло! Я давно собиралась отдать тебе его полушубок. На, возьми! — Но горбун не шевельнулся, и она накинула ему полушубок на плечи. — Видишь, как на тебя сшит! — Анна присела на корточки перед горбуном и стала опрашивать на нём полушубок, точно портниха. Её виноватый взгляд выражал грустную, всё прозревающую нежность.

Юло издал один из своих хриплых нечленораздельных звуков. Отчаяние на его лице сменилось

детской радостью. С восхищением рассматривая себя, он начал расхаживать по комнате, как павлин...

Но вдруг, видимо, испугавшись, как бы у него не отняли полушубок, выбежал из кухни. Его приглушенный судорожный смех донёсся со двора.

Анна медленно поднялась. Обернулась к Петру. Глаза её были затуманены, но вокруг губ порхала застенчивая улыбка.

Пётр быстро схватил другой полушубок, всё ещё лежавший возле сундука.

— И этот тоже хорош, Анна, — он ещё вполне годится, — заявил юноша, надевая полушубок. — Отличная штука. Знаете, Анна, вы... — он сделал неловкий жест, чтобы рассеять смущение. — Я хотел сказать — вы просто ангел. И если бы это не было так неуместно...

— Лучше не надо... — прервала его Анна. — Пойдёмте, иначе я опоздаю.

Едва они вышли из-под защиты дома, как ветер яростно ринулся на них. Некоторое время они молча шагали рядом.

— Я всё обдумал, — начал Пётр без всяких предисловий. Ветер рвал слова с его губ и относил их.

— Не торопитесь, Пётр, — возразила молодая женщина. — Обдумайте ещё раз хорошенько, когда будете наедине с собой.

Ветер вдруг изменил направление и стал хлестать сбоку косым дождём, так что Анне пришлось отвернуться от своего спутника. И Пётр увидел опять часть её широкого лба, тёмную дугу ресниц, трепетавших, точно крылья бабочки, и нежную округлость щеки.

— Нет, — поспешно добавил он, — нечего тут обдумывать. Я ведь знал в глубине души, что рано или поздно так должно быть. Нельзя стоять в стороне. Можете на меня рассчитывать, Анна. Я

возьму на себя эту работу. Я твёрдо решил. Беру. — Он говорил решительным и деловым тоном, но в его словах таился ещё другой, скрытый смысл. — Я возьму эту работу, — говорил юноша и как бы прибавлял: «Я делаю это для тебя, ради тебя, из любви к тебе!» — Вслух же он сказал: — Но вы, конечно, должны посвятить меня во все детали, и всё это нужно организовать как следует. — А хотел бы сказать: «Оттого, что я хочу слышать твой голос, твой чуть хриплый голос, рассказывающий мне секреты». Он торопливо заговорил об опознавательных знаках, о способах зашифровки: о двух товарищах, которые, сговорившись с одним из врачей, пробыли несколько месяцев в доме для умалишенных, симулируя душевную болезнь; на самом же деле у них был тайный радиопередатчик. Но и тут к его словам пришивались другие, не произнесённые: «Какие чудесные глаза у тебя, Анна! А губы! А синяя тень от ресниц!»

Он коснулся рукой её локтя. По всему его телу пробежала дрожь.

Анна остановилась. Пётр видел, что она побледнела и закрыла глаза. Он хотел схватить её за руки, но она открыла глаза и отступила на шаг.

— Я... я... никогда не позволил бы себе, Анна... — Он был не в силах договорить.

— Знаю, Пётр, — прошептала она. — Я всё знаю. И я не... не из-за него. Никто у него ничего отнять не может. И не оттого, что я... ну... что у меня будет ребёнок... Как мне объяснить вам... Сидит во мне что-то, и оно гораздо сильнее, сильнее всего... Ненависть. Я отравлена ею. Может, мы все отравлены тем, что они сделали с нами. И пока всё это не кончится... не время сейчас ни отдыхать, ни радоваться, ни любить... Не время... Но когда мы их вытравим отсюда, — а теперь уже

недолго осталось, — когда мы выжжем их, как выжигают гнойную язву, тогда всё будет... Буде жизнь.

С этими словами Анна с лёгкой лаской провела рукой по лицу Петра; но не успел он отдаться этому ощущению, как она уже была далеко.

Он не сразу пришёл в себя. Затем бегом пустился догонять Анну.

— Анна! Анна!

Она остановилась и обернулась:

— До свиданья! Я уже дошла!

Из тумана выступили красные кирпичные стены. Человек в военной форме загородил Анне дорогу. Она сказала ему что-то и поспешила дальше.

А Пётр всё стоял на том же месте. Он смотрел ей вслед. Она, как лёгкая голубая тень, быстро исчезла в волнующемся тумане, и даже звук её шагов затих.

Лазурь была затянута тучами.

На блёклых травах жемчугом лежала роса.

Просторы были пусты.

Тишина.

А в ушах у Петра гудело море, и сердце отчаянно билось, как птица в клетке, которая жаждет вырваться на волю.

— Не время, — шептали его губы, — не время любить... Но время придёт. Оно придёт. Да, придёт, придёт...

Он повернулся на каблуках и прыжками побежал вниз по склону.

11. КУКОЛКА

Возле хлевов стояли два лёгких броневика и четыре крытых брезентом грузовика с бензином. Бывшая лачуга пастуха была заново выбелена.

Над дверью висел флаг со свастикой. На стене печатными буквами была выведена надпись по-немецки и по-словацки: «Охрана — Отряд особого назначения № 28 — Восточная Словакия».

Задние окна подвального этажа были ярко освещены. Проходя мимо, Анна заглянула в караулку. Вокруг раскалённой докрасна печи сидело несколько немецких солдат. Это были упитанные молодые люди в кожаных куртках превосходного качества. И весь их вид и особое выражение лица говорили о том, что они — из привилегированной воинской части. С первого же взгляда было видно, что это не рядовые какого-нибудь запасного полка, из которых, в основном, состояли оккупационные войска, но эсэсовцы — солдаты отряда особого назначения «Викинг».

Некоторые играли в карты. Другие пели, широко разевая рты, но до неё доносился только разрываемый ветром далёкий отзвук их песни:

Моё сердце натянуто
На барабан...

«Двойные рамы вставили», — обратила Анна внимание на окна. Она вспомнила, как прошлой зимой, в Жилинской больнице, одиннадцать грудных детей заболели воспалением лёгких, оттого что нацисты берегли для себя конфискованное добро и не отпускали ни единого оконного стекла для нужд населения. — У самих, конечно, всё есть. До холодов ещё далеко, а они уже сейчас жгут прекрасное сухое топливо. Анна отвернулась от окна, она боялась, как бы её лицо не выдало ту ненависть, которая, как горький яд, жгла ей язык.

Ветер и дождь прекратились сразу, словно кто-то запер кран... Туман стал гуще. На повороте сквозь

мглу, менявшую все очертания, Анна увидела толпу, собравшуюся перед одним из домов, где жили служащие и арендаторы.

Анна остановилась. Подойти? Она колебалась. Но в эту минуту толпа дрогнула. Тут только Анна разглядела, что она состояла из детей и подростков, рассыпавшихся во все стороны, точно стайка испуганных воробьёв.

Две девочки бежали по луговине к тому месту, где стояла молодая женщина.

Анна помахала им рукой:

— Эй, подождите! Подите-ка сюда!

Но они только втянули головы в плечи и продолжали бежать.

Анна как будто узнала ту, что повыше.

— Эй, Суска! — опять крикнула она. — Суска!

Девочка замедлила бег и обернулась.

— Суска! Ты что, не слышишь? Я же тебя обижу... Подожди минутку.

Обе девочки остановились.

Какими старыми и суровыми казались ли этих четырнадцатилетних подростков! И как они были худы — кожа да кости в линялых ситцевых платицах!

И снова Анна почувствовала горький вкус рту.

— Что там стряслось? — обратилась она к старшей девочке с растрёпанными бесцветными пальцами и плоским носом. — Ты разве забыла меня? Я сноха Яники из Расток, не помнишь? Я не только раз была у вас. Как мама?

— Она всё время харкает кровью.

Анна помолчала, затем взъерошила мокрые волосы девочки.

— А что слышно про отца? Он вернётся домой?

— Нет. Его отправили в другой рабочий лагерь, за Польшей. Ему позволяют только раз

месяц писать нам. — Девочка говорила равнодушным тоном, она уже привыкла к горю, о котором говорила. Анна ей, видимо, внушила доверие. Ногой в рваном лапте, из которого торчали голые пальцы, она чертила крест в рыхлой грязи. Затем нерешительно сказала: — Старик Балушек повесился.

— Кто?

Девочка махнула рукой в сторону дома, перед которым толпились дети. — Старик Балушек, отец управляющего. Но он жив.

— Как так?

— Ну да. Офицер, с которым он жил, успел перерезать верёвку, он и упал. Но он клянётся, что всё равно повесится. Я, говорит, больше не могу терпеть. У него перед тем только что трёх собак отравили, и как он утром выйдет — к его калитке петля прибита. Он доносил на женщин, которые прятали овёс от продовольственного отряда.

Тут вмешалась другая черноволосая девочка с двумя косичками штопором:

— Он и теперь говорит: я, говорит, нечаянно проболтался. Только кто ж ему поверит?

— Врёт! — воскликнула Суска. — Он свою дочь отдал за парня из гвардии Глинки, за начальника лагеря. И сын его тоже в гвардии служит.

Черноволосая девочка стала оправдываться:

— А я что сказала? Что никто ему не верит. Конечно, такая штука даром не пройдёт.

— Ещё бы, — согласилась Суска. — И весь его выводок передавить надо!

Анну охватила дрожь, когда она увидела, как при этих словах лицо девочки искажилось. Как глубоко проникла ненависть даже в души детей! Да, пора, пора положить этому конец!

Анна плотнее запахнула кофточку.

— Ну а что же потом было?

Девочки ответили разом:

— Офицер пригрозил посадить всех соседей.

— И всех пороть...

— Пока не скажут, кто собак отравил и прибил петлю.

— Офицер кричал, что будет рад, если они совсем не встанут после порки или уползут на карачках... Ой!.. Вот он!

Девочки испуганно взвизгнули и убежали.

Анна увидела человека в мундире; он вышел из дома управляющего. Она узнала широкие плечи и круглую мальчишескую голову Выдры. Лейтенант поднял руку, затянутую в белую перчатку, и потряс кулаком, угрожая кучке подростков, которая снова успела собраться. Этот жест сопровождался взрывом ругани, похожей на злобное твяканье.

Неожиданно для самой себя Анна горько и гневно засмеялась.

Она решительно отвернулась и пошла своей дорогой. Оглянувшись через плечо, она увидела, как лейтенант обрушился на кого-то и снова занёс для удара свой затянутый в белую замшу кулак.

Парк отделялся от двора решёткой и жирными гипсовыми херувимчиками. Под аркою входа Выдра столкнулся с Анной. Маленькие ноздри его вздёрнутого носика раздувались и брови над вылинявшими глазами были приподняты.

— Как я рад, что встретил тебя, — выпалил он. — Ведь ты одна из тех — верно ведь? — чьё сердце тает от сочувствия к этим бедным словакам, которые вечно ноют, что с ними обращаются слишком сурово. А мы, воспитывающие в них дисципли-

лину и понимание процесса национального возрождения... Мм... — он запутался и откашлялся. — Одному чорту известно, какую мы имеем цену в твоих глазах. Считается, что мы способны только во всё совать свой нос да браниться. И никогда мы не видим ни благодарности, ни понимания. Наоборот: как правило, народ кусает ту руку, которая его кормит. Да, да! Но тут и святой терпение потеряет. Тебе бы следовало это знать.

Анна гневно отрезала:

— Что тебе, собственно, от меня нужно? Для чего ты мне всё это говоришь?

Лейтенант только рот разинул.

— Как?.. что?.. — забормотал он и затем возбуждённо продолжал: — Брось, пожалуйста! Не притворяйся, будто ты не понимаешь, о чём я говорю... Кто на-днях спас вас всех от ареста и от суда, когда загорелась фура с сеном?

Но Анна продолжала холодно смотреть в его водянистые глаза, и он начал усиленно моргать.

— Я полагаю, — сказала она, — что это был несчастный случай... Можно только пожалеть... Разве ваше собственное следствие не показало то же самое?

Выдра заморгал ещё быстрее. Ноздри его трепетали. Но на бесстрастном и строгом лице Анны не дрогнула ни одна черта.

— Да, весьма печальный случай... — начал Выдра, растягивая каждое слово. Он отломал от куста тонкую ветку и стал обрывать листья. Затем спиби кончиком комок грязи, прилипший к сапогу. Но вдруг точно с цепи сорвался: — В конце концов это становится просто невыносимо! Каждый день по несчастному случаю! Каждый день! — повторил он, понизив голос, но многозначительно. — И слишком часто эти несчастные случаи кончаются пожарами. Сначала сено, потом угольные печи! — он

помолчал. Затем продолжал совсем другим тоном, сдержанно и внушительно:—Слушай, Анна, пойми: если ты видишь, что тебя ежеминутно надувают, ты в один прекрасный день скажешь себе: да наплевать мне на все эти соображения. И не вздумай спрашивать меня опять, при чём тут ты. При очень многом. Здешнее население тебя уважает. С тобой считаются. Если бы ты захотела, ты могла бы сделать немало в смысле перемены отношения к нам... То есть, я хочу сказать... в смысле понимания той роли... Той важной роли, которую играют наши немецкие друзья... то есть помочь установить сотрудничество, полезное для обеих сторон...

Он смолк и сжал губы, ожидая ответа.

Анна с трудом сохраняла спокойствие.

— Ты переоцениваешь моё влияние. — ответила она. Она говорила с равнодушной небрежностью, но в голосе звенела какая-то напряжённая нютка.

— Ты хочешь сказать... — он повертел прут, — что ты не согласна?

— Я этого не сказала.

— А что же?

— Что ты ошибаешься. Я ничего не добьюсь. Я не могу добиться того, чего ты хочешь.

Выдра взмахнул прutom.

— Вздор! — прут выскользнул у него из рук. Он наклонился, чтобы поднять его.—Извини! Ты, видимо, принадлежишь к той категории наших соотечественников, которая уже не способна мыслить здраво. Они не понимают ни характера, ни цели нашего национального возрождения. Они или просто не видят значения событий или их настроили. А теперь они ко всему в оппозиции, всё критикуют и находят особое удовольствие в том, чтобы унижать самих себя. Да, да, вы только и знаете, что искать поводов для самоунижения. — Он вдруг разгорячился. — Вот почему вы не в

состоянии понять отношений между нами и нашими немецкими друзьями. Вот почему вы нарочно не хотите замечать всего, что они сделали для нас и за что мы должны быть глубоко благодарны им!

Анна была уже не в силах сдерживаться. Она прислонилась к дереву у края тропинки. Её губы дрожали, бледные на ещё более бледном лице. Она изо всей силы впиалась ногтями в ладони, чтобы устоять перед искушением и не вонзить их в горло, произносящее слова благодарности нацистам за их благодеяния.

— Что с тобой? — воскликнул Выдра, схватив её за плечо.

Анна гневно оттолкнула его:

— Убери руки!

И в тот же миг она пожалела об этих словах и этом жесте. Как можно было так горячиться? Разве она выполнит свою задачу, если будет терять власть над собой при первом же поводе? Плохо же служит она святому делу освобождения!

Выдра следил за ней со смешанным чувством страха и раздражения. Сам он сразу стал другим, словно сквозь румяные щёки проступило совсем иное лицо — лицо человека, способного смотреть с полным равнодушием на то, как людей избивают до смерти.

— Понимаю, — протянул он через минуту, багровый от злости. Со сжатыми кулаками он наклонился к ней, так что она видела прямо перед собой его налившиеся кровью глаза. — Понимаю... Ну, что ж, и мы будем вести себя соответствующим образом... Но я тебе посоветую...

Однако она так и не узнала, в чём состоит этот совет. В кустах рядом с ними раздался шорох и хриплый, свистящий звук. Лейтенант круто обер-

нулся. На миг он увидел перед собой что-то вос-
палённые глаза, увидел чёрное косматое существо
мало напоминавшее человека, но это было и не
животное... Снова шорох, скачок, и непонятно
существо потонуло в тумане.

Выдра отёр пот, выступивший на лбу.

— Что это?

— Верно, собака, — заметила Анна. — Она ус-
пела узнать Юло, горбуна, и это помогло ей овла-
деть собой. — Ты испугался? Я тоже испугалась,
а мне это сейчас особенно вредно... У меня ведь,
знаешь, будет ребёнок, — и она улыбнулась всё
ещё бескровными губами.

Лицо Выдры понемногу прояснилось:

— О, теперь я понимаю. Конечно... Я же не
знал. Я извиняюсь... и желаю всего лучшего и ма-
тери и ребёнку. Надеюсь, что это будет бутуз...
мальчик... — Он отвесил Анне галантный поклон
и протянул ей руку.

Анна ответила ему пожатием.

— Спасибо.

Её вдруг охватило чувство огромного внутрен-
него покоя и ненависти, уже не горькой, но светлой
и острой, как лезвие отточенного ножа.

Тем временем они дошли до замка. Жёлтый фа-
сад в стиле барокко просвечивал между деревьями
и кустами. На застеклённой веранде, к которой
вела невысокая лестница, появились две фигуры.
Анна узнала хозяина замка и одного из офице-
ров — капитана-эсэсовца с головой яйцом.

— Ну, мне пора, — сказал Выдра. — Я очень
сожалею, но... — он рассеянно покрутил пуговицу
мундира.

— Понятно, — пришла ему на помощь Анна. —
Долг прежде всего. Мне тоже надо вон в тот фли-
гель. Значит, всего!

— Всего! — крикнул облегчённо Выдра. — Как

жаль! Нам никак не удаётся поговорить по душам. Но мы ещё потолкуем, увидишь. Значит, всего! — Он щёлкнул каблуками и, рисуясь, бодро побежал к веранде.

Стоявший наверху офицер заметил Выдру. Он потянулся, зевнул и лениво подошёл к балюстраде как раз в ту минуту, когда Выдра приблизился к основанию лестницы.

— А-а, лейтенант Выдра, — встретил его офицер, опершись локтями на голову мраморного ангела, украшавшего вход. — Как раз во-время.

Выдра заторопился. Он шагал через две-три ступеньки. Дойдя до верху, он стал навтыжку, затем рывкнул по-немецки.

— Рад стараться, господин капитан!

Офицер с головой яйцом коснулся папиросой кудрей ангела, стряхивая пепел:

— Хорошо, хорошо. Вот что, Выдра, идите-ка сейчас же в канцелярию, помогите фельдфебелю. Он там допрашивает одного парня, которого мы сейчас только забрали. Арестованный говорит, конечно, только по-словацки, а, знаете, этот язык... Ни один образованный человек не может разобрататься в этой белиберде!

— Слушаю, господин капитан.

Выдра вошёл в дом. Капитан зевнул ему вслед и взглянул на парк с раздражением и скукой. Но внезапно выражение его глаз изменилось, словно дремлющий кот вдруг увидел выпавшего из гнезда птенчика. Он весь насторожился, как хищник, почувывший добычу.

— Чорт побери, барон, — обернулся он к хозяйину. — Я и не подозревал, что у вас среди женской прислуги имеется такая прелестная куколка! — и он указал на Анну, которая шла через лужайку у флигеля. Платок сполз у неё с головы, ветер играл её бронзовыми волосами и обтягивал

платье на сильных стройных бёдрах. — Чорт по бери!

Барон Альпари засмеялся коротким дрябленьким смехом разжиревшего фата; казалось, зашипел его жир.

— От вас ничего не скроешь, капитан Дегенфельд, — взвизгнул он. — Вы всё видите!

— Что вы, это же входит, если хотите, в мои обязанности, — заметил капитан и поиграл почётным кинжалом, висевшим у пояса. — Но сознайтесь, барон, зачем вы прятали от нас этого стервёныша?

— Прятал? Помилуйте! Прятал! — барон расхохотался и, казалось, никак не мог успокоиться. — Вот чудак! Дело в том, что она, — отрывисто заговорил барон, всё ещё смеясь, — что она не в штате. Мы иногда берём её на временную работу

— Тогда тем менее понятно, дорогой мой, зачем вы её прячете. Или для себя бережёте, а? Знаете, это было бы не совсем по-товарищески по отношению к офицерам союзных войск, хе-хе-хе! — И капитан, смеясь, ткнул барона пальцем в бок.

Барон поморщился. Чтобы скрыть смущение, он снова захихикал.

— Ради бога! Ничего подобного! Я из принципа никогда не сближаюсь с прислугой в моём доме. Всегда получают только осложнения.

— Весьма похвальный принцип! — Капитан Дегенфельд подтянул бриджи. — Следовательно, ничто не препятствует нам заняться ею?

Барон Альпари закивал с кисло-сладкой улыбкой:

— Пожалуйста, пожалуйста!

Капитан наслаждался, видя, как барон извивается словно рыба на крючке. — Нет, дорогой мой, вы так легко не отвертитесь... пожалуйста, пожалуйста. Этого мало. Вам придётся выполнить свой долг

как хозяйина и союзника, хе-хе! Кстати, где работает сейчас эта девушка и как её зовут?

— Анна. Она' помогает на кухне.

— Анна? Недурно. Анна, Анни, — и Дегенфельд запел гнусавым басом: «Анни из Тарау — вот кого я люблю!» — Он перевёл дыхание. — Настоящий пивной бас, а? Я всегда пел соло перед первым кругом на наших пирушках. Это было довольно давно, знаете, когда я был корпорантом. Ах, студенческие годы! Вы, конечно, тоже были в корпорации, барон?

— Нет, к несчастью, не был. Мне, разумеется, очень хотелось, но мой отец... И потом учтите условия 1918 года. Как раз после всех этих событий... это было для меня большим лишением.

— Да, вы многого лишились, дорогой мой. Уж поверьте мне. Однако перейдём к делу. Вы снимаете маленькую Анни с работы на кухне и переводите её в горничные. Решено и подписано?

— Решено, — обещал барон. — Тут одно только...

— Что же?

— Видите ли... — барон опять стал похож на испуганную белку. — Анна — замужняя, вернее, вдова.

— Молодая вдова! Великолепно! — Жёлтые отвисшие щёки капитана порозовели. Он погладил свои гитлеровские усики. — Это же страшно всё упрощает! Не будет глупого мужа, который рзнует, и, кроме того, я явлюсь в роли утешителя. Слушайте, дорогой, перестаньте смотреть на меня, как баран на новые ворота. Ничего не попишешь, — война. Мы живём среди опасностей, нужно ловить момент и не зевать, если что плохо лежит. Знаете песню, — и он снова затянул сильным басом.

Мы на гордых конях вчера мчались в бой,
Нынче кровь наша льётся алой струёй.
Завтра нас зароят в земле сырой... —

закончил он дребезжащим тремоло.— Ни с чем не сравнимы наши немецкие песни! Как они бодрят! Да, бодрят! Иной раз, после работы... Ну, хорошо... Скажите, пожалуйста, эта куколка... может быть, вдова ветерана?

— Нет... мм... видите ли... обстоятельства. при которых умер её муж, мм... несколько сомнительного свойства... Он умер во время допроса... — Дегенфельд вынул папиросу и поспешно стал чиркать спичкой, но головка отскочила, и спичка не загорелась. — Так что я, право, затрудняюсь...

— Знаете что, дорогой? Предоставьте-ка всё это мне, — капитан взял коробку спичек из рук Альпари. — У вас, видимо, огнебоязнь! — Он хрипло захихикал, закурил папиросу и равнодушно спросил: — Значит, этот тип скиксовал во время допроса?

— Во время допроса, не давшего никаких результатов, да, — сказал барон. Он попытался выдержать стеклянный взгляд собеседника, но не смог.— Бывает, знаете... Допрашивают и... ничего... Я хочу сказать... впрочем, незачем объяснять вам...

— Совершенно излишне, — подтвердил Дегенфельд, всё ещё не сводя пристального взора с хозяина, — по привычке или с какой-то затаённой мыслью. — В данный момент мне абсолютно неинтересно, что там крылось под всей этой историей... Интересно, что под юбками у Анни... хе-хе... Как вы полагаете, Кэстер? — он обернулся к вошедшему адъютанту, который был в стальном шлеме и с саблей у пояса. — Представьте: здесь в доме есть прелестная вдовушка, которую до сих пор от нас прятали. Поставьте бутылку шампанского и получите после меня местечко на её груди. Да, да, я знаю — для вас минуты нежности не существуют. Только служение государству, служение нации. Всё

это очень хорошо, я и сам неплохой стрелок. — Он поиграл железным крестом на груди. — Но есть же на свете ещё кое-что кроме этих мрачных и опасных обязанностей. Ну, вижу, мои слова опять — глас вопиющего в пустыне. Что у вас?

Пока капитан разглагольствовал, рука адъютанта взлетела к шлему. Он стоял, не шелохнувшись, его глубоко сидящие глаза на самоуверенном тонкогубом лице горели тёмным огнём.

— Майор просит господина капитана немедленно явиться к нему с докладом, — отчеканил он.

Дегенфельд проглотил ответ и зевнул. Затем сразу отшвырнул папиросу, выпрямился, вытащил из кармана перчатки и начал натягивать их.

— Господин обер-лейтенант, — обернулся он, наконец, к адъютанту, — бумаги, пожалуйста! — и взял кожаный портфель, который ему подал Кэстер. — Благодарю. Идём! Ещё увидимся, барон, — и, несколько понижая голос, добавил: — Так не забудьте насчёт этой особы.

Анна стояла перед одной из тяжёлых дубовых дверей садового флигеля, где помещались офицеры и штаб. Она усердно работала метёлкой и совком и напряжённо вслушивалась в то, что происходило за дверью, стараясь уловить хоть один звук. Наконец до неё донёсся еле слышный, глухой, сдавленный стон, он вошёл в неё, как острие, и привоздил к месту. Она знала, что сегодня утром сюда доставили арестованного. Может быть, его сейчас допрашивают? Снова ни звука.

Или ей померещилось, и всё это пустая игра воображения? Однако эта дверь с ржавыми железными петлями будила страх, вызывала мучительные воспоминания.

Что делать? Что делать?

Чей-то резкий голос спросил:

— Вы говорите по-немецки?

Анна с трудом пришла в себя. Она узнала бледного молодого офицера с лихорадочным взором.

Он повторил свой вопрос.

Что ему нужно? Может быть, он хотел поймать её в ловушку? Зачем он спрашивает? Однако раздумывать было некогда.

— Немного.

Офицер окинул её взглядом. Её глаза были опущены, но она следила за каждым его движением.

— Что вы здесь делаете? — Тон был всё также резок.

Анна молча указала на метёлку и совок.

Он снова окинул её взглядом и прибавил несколько мягче:

— Вы — новая горничная?

— Да.

— Будьте добры, идите за мной.

Он пошёл вперёд. Анна — за ним, всё ещё безмолвная и взволнованная тем, что вот она подслушивала, а её застигли и спрашивают. Офицер открыл дверь, на которой висела дощечка с надписью: «Канцелярия адъютанта», и предложил Анне войти.

Обставлена комната была с подчеркнутой суровостью: походная кровать, письменный стол, заваленный бумагами, над которым висело единственное украшение — портрет в широкой претенциозной рамке, изображавший Гитлера между двумя фельдмаршалами, склонившегося над картой.

Ординарец, валявшийся на походной кровати с папиросой в зубах, вскочил. Он был, видимо, испуган.

— Я за списком, господин обер-лейтенант, — доложил он, становясь навтыжку молодцеватее, чем полагалось.

Адъютант накинулся на него:

— Майор ещё не утвердил списка, придёте через два часа. И запомните, что офицеру германской армии стыдно в ожидании начальства валяться по кроватям, как деревенскому лодырю. Особенно в служебном помещении и на чужой постели. Ещё что?

— Больше ничего, господин обер-лейтенант.

— Хорошо. Значит, через два часа. Идите.

Ординарец щёлкнул каблуками и поклонился, не сгибая плеч. Его фигура напоминала при этом бритву, которую быстро открыли и закрыли.

— Слушаю, господин обер-лейтенант! — Его побагровевшее лицо окаменело. Но в углах рта едва уловимо играла усмешка, злая и угрожающая.

Адъютант подождал, пока ординарец вышел из комнаты. На его лбу залегли две глубоких морщины. Он больше, чем когда-либо, был похож на разозлённого студента.

Анна почувствовала, как её смущение постепенно проходит. Когда обер-лейтенант, наконец, обернулся к ней, она встретила его настороженным взглядом.

Его досада, видимо, ещё усилилась. Он швырнул шлем на стол и взялся за спинку стула, но передумал и остался стоять. Он даже опять надел шлем. Затем взял какую-то бумагу и начал читать таким тоном, словно читал перед строем приказ по армии:

— «Обслуживающие должны твёрдо помнить, что вход в помещения канцелярий разрешается только для целей уборки — между восемью часами утра и двенадцатью часами дня, а также между двумя и пятью часами пополудни. Содержимое корзин для бумаг должно немедленно сжигаться. Книги, бумаги трогать воспрещается. Никакой контакт с военным персоналом, — здесь он понизил голос, —

не разрешается. Распоряжения относительно работы отдаются только хозяевами дома или комендатурой, но отнюдь не отдельными офицерами. Все домашние служащие подчиняются правилам военного времени, всякое нарушение правил наказуется властью коменданта или по приговору военного трибунала. Поняли? — Не дожидаясь ответа, он поспешно продолжал:— Эта инструкция, с которой я вас ознакомил, имеет совершенно официальный характер. Вы можете ссылаться на неё, кто бы ни побуждал вас нарушить её или небрежно выполнять. В таких случаях вы имеете право доложить адъютанту. Германская армия требует от всех, без исключения, дисциплинированности и послушания, являющихся законом для неё самой. Всё. Вам ясно вполне?

Анна не ответила. Она смотрела на портрет Гитлера. Сначала ей почудилось, что это лицо с имитирующей наполеоновскую прядью волос вдруг искажается, принимая нелепые и чудовищные очертания. Затем её внимание было привлечено другим. В стекле портрета отражалась одна из бумаг, лежавших на столе. Нелегко было читать слова в обратном порядке, но Анна не хотела выдать себя, взглянув прямо на бумагу. Медленно и с трудом она прочла:

«Осо... осо... осо... бый при... приказ. План операций в связи с деятельностью партизан на территории Восточной Словакии».

Адъютан кашлянул.

Взглянув, Анна постаралась вспомнить его последние слова.

— Я... — она угадала по выражению его лица на какой вопрос он ждёт ответа, и поспешно добавила: — Нет, ничего.

— Можете идти.—Обер-лейтенант выпрямился.— Хейль Гитлер!

Анна снова шла через холл. Дубовая дверь, у которой она подслушивала, была теперь открыта. Анна заглянула в комнату с массивной резной мебелью, бархатными занавесками и оружием, развешанным по стенам. На столе посреди комнаты сидел капитан Дегенфельд, закинув ногу за ногу, и тихонько перебирал струны гитары.

Он поднял голову, поспешно отложил гитару и прыгнул со стола.

В один миг он очутился у двери.

— Пст, куколка! — заворковал он и повторил на ломаном словацком языке: — Гей, подойди, кукла!

Анна воспринимала всё происходящее и действовала, словно в лихорадке опьянения. «Он раздевает женщину глазами», — подумала она. Его жёлтый череп вдруг напомнил ей пасху и катанье яиц в мирные былые годы. Во время игры мальчики били друг о друга выкрашенные луковой кожурой яйца. Яйца издавали такой чудной, мягкий стук. Интересно, что если его голову...

Капитан по-своему истолковал её улыбку. Он выпятил губы и закивал:

— Гей, подойди, кукла!

Анна услышала свой голос, автоматически отвечающий: — «Обслуживающие должны твёрдо помнить, что вход в помещения канцелярий разрешается только...»

— Господи боже, настоящий Кестер! — прервал её капитан. — Вы говорите по-немецки? Просто замечательно! — он засмеялся. — Но сейчас это не канцелярия и не штаб, а музыкальная комната. Вы когда-нибудь слышали немецкие студенческие песни? Чувствительные немецкие песни? Под аккомпанемент гитары?

Он указал кивком на инструмент.

Анна последовала глазами за его взглядом. И

вдруг обмерла. Только сейчас заметила она возле стола на полу короб с мышеловками, метёлками и раскрашенными деревянными тарелками...

Стеклянный шар холодного опьянения лопнул. Её сердце метнулось, как пойманное животное.

«Тише, тише! Не смей волноваться!»—говорила себе Анна. С почти сверхчеловеческим усилием удержалась она на ногах. Повернулась спиной к капитану и вышла.

12. КАМРАД

Дверь подвала захлопнулась за Иваном Шитко и звук гулко отдался под сводами. словно упало сражённое дерево на проросшую мхом землю.

От последнего пинка, которым угостил его эсэсовский ефрейтор, Иван скатился по ступенькам и еле смог остановиться внизу.

Огонь фонаря—фонаря, которым его ударили по лицу, всё ещё продолжал плясать перед ним в виде пёстрых кругов. Постепенно круги померкли.

Рёв в ушах стал отступать, как отлив.

И только тишина продолжала петь.

Иван открыл задухшие веки.

Первое, что он увидел, был бледный отсвет на плитах пола—прямоугольное отражение узкого подвального окна. Затем он увидел и само окно, высоко-высоко под сводчатым потолком. И, наконец, его взоры погрузились в гнёзда мрака, сплетённые тенями по углам.

Подвал был пуст. В нём не было ни койки, ни скамьи, ни ступеньки, ни выступа, ничего, кроме стен из шершавых каменных глыб, окна на высоте, вдвое больше человеческого роста; да дощатой двери, обитой ржавым железом.

Иван Шитко живнул. Опять попал! — вот что означал этот кивок. За шестьдесят лет своей жизни разносчик Иван Шитко сидел не раз и подолгу, и не подолгу в узилищах всякого рода. Иной раз он не знал, за что, иной раз знал. Иногда он сам напрашивался на отсидку, как, например, в годы великого кризиса, когда он, бывало, то подождёт стог сена, то швырнёт камнем в чужое окно, чтобы обеспечить себе на самые суровые зимние месяцы казённый стол и квартиру.

Опять попал! В этой мысли, что он уже не первый раз за решёткой, было что-то утешительное. На время Иван забыл, насколько иным был этот арест, насколько иным был он сам.

Он глубоко вздохнул и почувствовал слабый аромат. Иван понюхал воздух. Казалось, что пахнет давно опустевшими винными бутылками. Вероятно, этот подвал был когда-то частью винного погреба.

Жажда начинала его мучить. Язык лежал, словно деревянный, в пересохшем рту. Разбитую губу стягивала запёкшаяся кровь, эта кровь имела сладковатый вкус.

Иван обошёл все четыре стены. В одном углу камень ему показался сырым. Иван прижался к нему губами. От сырости немного полегчало, но это не утолило жажды.

Он сплюнул. Боль напомнила ему, что у него только что выбили зубы. Он осторожно провёл кончиком языка по дёснам. Трёх зубов как не бывало — двух коренных в нижней челюсти и одного переднего наверху.

«Свиньи, — подумал он, — точно метили!» Передний был выбит ударом фонаря. Коренные ему выбили раньше. Багровые полосы на спине и на бё-

драх были следами допроса. Но, слава богу, кости целы.

Иван невольно улыбнулся. Он вспомнил крестьянскую поговорку, которую мать постоянно твердила ему, когда он был мальчиком:

«Выбитый зуб лучше, чем сломанная рука. Жизнь на соломе лучше, чем смерть в шелку».

Да, да, мать, если бы только эта мудрость не делала нас такими робкими, такими слабыми и покорными, что у нас отнимают даже жизнь на соломе!

Иван не спеша вернулся к тому месту, откуда начал обход своей камеры.

Здесь было достаточно близко к двери, чтобы во-время услышать приближение часового, и достаточно далеко, чтобы не получить пинка, если дверь распахнётся неожиданно; старик присел на корточки, как сидят пастухи-подростки вокруг ночного костра, когда печётся картошка и рассказываются легенды о благородных разбойниках в синих лесах.

«Да, да, разбойники...» — думал Иван, бесцельно глядя на узкое окошечко. Стекла потрескались и были мутны. И вид за ними был унылый — кусок дворовой стены, полосы неба, серое на сером. Но вдоль нижнего края стекла тянулась кайма грязи и паутины. Если смотреть на неё сквозь опущенные ресницы, то казалось, что видишь очертания далёких гор — вершины и хребты, покрытые лесами, похожими на облака.

Да, да, разбойники. Вот хоть бы такой, как Вавринец. Он бы не сидел здесь. Он бы никогда не попался так глупо. Но кто мог догадаться, что этот странный грузовик в кустах на холме был подвижной радиопередатчик и нацисты задерживали всех, кто приближался к нему? Верно, не следовало уступать своему любопытству. Он

должен был думать только об одном: добраться до людей на границе и поскорее передать им поручение. Нет, этого никогда бы не случилось со знаменитым разбойником. А впрочем? Разве Штефан Вавринец не попадал много раз в руки врагов из-за небрежности, любопытства, даже из удали? Правда, они могли поймать Вавринца, но удержать его — другое дело! Если бы даже они засадили его сюда, он, наверно, пробыл бы здесь недолго. Он сбил бы с ног часового своим знаменитым бычьим ударом, выхватил бы у него оружие и удрал, как он сделал в Жолтаве, когда его везли в крестьянской телеге на станцию железной дороги.

Да, да, вот как поступил бы Штефан Вавринец и сейчас.

Иван представил себе борьбу славного разбойника за свободу с такой живостью, настолько вообразил себя на его месте, что не слышал скрипа ключа в замке. Он вскочил на ноги только, когда дверь распахнулась.

Вошел часовой.

Это был крепко сложенный человек, в простой походной форме, гораздо старше франтоватых ефрейторов, которые выбили Ивану зубы. Он кинул на арестованного короткий взгляд и бросил ему лошадиную попону, которую держал подмышкой.

— И соломы тут нет! — пробормотал часовой, сердито озираясь. — Ну, нет так нет, — прибавил он. — Уж как-нибудь так поспишь.

Иван вспомнил, что во время допроса он отрицал, что знает ещё какой-либо язык, кроме словацкого. Поэтому он виновато покачал головой и сказал, коверкая слова:

— Немецки — нет камрад!

Солдат вытащил из кармана спичку и стал ковырять в ухе. Он испытующе посмотрел на Ивана и кивнул:

— Да уж ладно, бедняга!

Несмотря на мрачное выражение лица часового и на немецкую форму, в его манере ходить и говорить, в том, как он стоял, расставив руки, было что-то давно знакомое и отнюдь не враждебное.

Крестьянин, пронеслось в голове Ивана, верно, давно не видал своей деревни, своего поля... Оттого такой сердитый. Но, всё равно, такой же крестьянин, как и все мы. И, быстро приняв решение, он сделал шаг к часовому.

— Камрад?

Солдат попятился и схватился за рукоятку маузера.

— Не, не, камрад, — постарался Иван успокоить его.

Он поднёс сложенные горсти ко рту и пошевелил губами, втягивая воздух, как воду.

Нерешительно солдат снова сунул револьвер в кобуру. Его глаза были пристально устремлены на Ивана, вопрошающе и недоверчиво. Поднятые брови образовали дрожащий треугольник. Вдруг, не говоря ни слова, он повернулся к Ивану спиной и вышел из подвала. Было слышно, как он снаружи возится с замком. Через две-три минуты он появился снова, отпер дверь и медленно переступил порог. В протянутых руках он держал большую кружку с водой:

— На, на, бери!

Иван выпил до дна. Затем поставил на пол кружку, в которой не осталось ни капли воды. Он удовлетворённо вздохнул:

— Хорошо, спасибо, камрад.

Не говоря ни слова, солдат поднял кружку и

прицепил к своему поясу. Он постоял ещё в нерешительности, продолжая ковырять спичкой ухо. Затем повернулся к двери.

— Эй, камрад!

— Ну, что такое?

— Камрад, но-но? — Иван щёлкнул языком и показал движениями, как пахарь нажимает на плуг, идя по пашне. — Но-но?

Лёгкая тень улыбки скользнула по хмурому лицу солдата. Совсем другим голосом, полным тёплого сочувствия, он спросил:

— У тебя тоже хутор есть?

Иван забыл взятую на себя роль. Он ответил на довольно сносном немецком языке:

— Нет, у меня нет хутора. Отец землю арендовал. Только теперь всё это ни к чему.

Солдат как будто не заметил, что Иван вдруг стал говорить и понимать по-немецки.

— Какого чорта, разве я теперь крестьянин!... — сказал он хмуро, рассматривая мозоли на ладонях, словно желая прочесть по ним причину своих бед. — Нет, какой уж я крестьянин! — Покачивая головой, он осматривал себя.

Иван тихонько свистнул.

— Да, да, под солдатским мундиром какой уж крестьянин! — Он замолчал и прибавил осторожно, словно подкладывая хворост в тлеющий огонь: — Гм... а когда хозяйина нет год... да ещё год... да ещё год... да, да, тогда всё хозяйство идёт на смарку.

— Какого чорта, конечно, — вскипел солдат. — То-то и оно. — Он смолк, продолжая ещё задумчивее рассматривать свои мозоли. Затем сказал, скорее обращаясь к самому себе, чем к старику: — А вдруг мы так будем маяться до второго пришествия? Господи боже мой, сколько ещё это может продлиться?

— Пожалуй, ещё лет тридцать, — ответил Иван спокойно.

Солдат так и вскинулся.

— Тридцать лет? — воскликнул он. — Да ты спятил?

Иван покачал головой. Он прищурился, словно кот.

— Я читал! — сказал он, переходя в нападение. — Сам фюрер сказал. Если нужно будет, говорит, мы, немцы, будем, говорит, сражаться хотя тридцать лет.

— Чорта с два будем! — продолжал кипятиться солдат. Его лицо побагровело от злобы. Он сорвал с головы фуражку и швырнул её наземь. — Пропадни всё пропадом. — Вдруг он замолчал. Его глаза блеснули. Он положил руку на кобуру револьвера и спросил вполголоса угрожающим тоном:

— Как это ты вдруг заговорил по-немецки? А?

Иван откашлялся. Вспышка солдата была искривлена. Без сомнения, он сыт по горло и войной, и пышными речами, даже речами фюрера; но сейчас он смущён и испуган. Может быть, он подозревает, что Иван — агент гестапо? Чтобы рассеять его страх и внушить доверие, надо было действовать прямо, хотя и осторожно.

— Я и в самом деле плохо говорю, — отвечал Иван, поглаживая усы. — Так, немножко. Когда с хорошим человеком встретишься. А ежели перед начальством, так я сразу все слова забываю. Не если видишь своего брата в военном... Я ведь тоже в армии был, и в последнюю войну, и ещё раньше Семь лет лямку тянул, да. Огонь и воду прошёл браток. И тогда нам всё твердили, что победа, дескать, обеспечена, и золотые горы сулили. Только потом поняли мы, чего стоили все обещания. Клопы паршивого не стоили! А будь у нас голова на пле

чах: я хочу сказать; тогда... Мы всё это добросали бы к чертям собачьим, да на два года раньше домой вернулись.

— Заткнись, чтоб тебя! — прервал его солдат. Он наклонился, поднял свою фуражку и опять надел её. — Сам знаю... Увязали по горло...

С этими словами, в которых было больше горечи, чем гнева, он вышел из подвала.

Дверь захлопнулась.

Но Иван увидел на полу кусок солдатского хлеба, там, куда часовой швырнул всердцах свою фуражку.

Иван разломил кусок на две части. Ту, что побольше — он спрятал за пазуху.

— Никогда не знаешь, что будет...

Когда он жевал хлеб, его дёсна болели, но так хорошо было что-нибудь проглотить...

Вот ещё покурить бы!

Иван снова присел на корточки.

Опершись подбородком о колени и обхватив их руками, он погрузился в думы.

Прежде всего надо было известить друзей — Анну и Карела, — прежде всего Карела, а то он думает, что послание партизанам уже давно в пути. О, как много времени потеряно зря! Ну, жаловаться теперь поздно. Надо действовать. Вот единственное, что имеет цену.

Идя на допрос и возвращаясь обратно, Иван тщетно искал случая дать знать Анне о том, что он арестован. Может быть, она уже осведомлена. Немцы могли говорить об этом между собой или, может быть, его видел кто-нибудь из слуг. Вполне вероятно, но рассчитывать на это нельзя.

Нет, необходимо подать весть друзьям, чтобы они могли отправить в горы кого-нибудь другого;

едва ли они смогут устроить ему побег. Ему чудилось, что он слышит, как Карел обсуждает это событие своим спокойным суховатым тоном:

«Вполне возможно, что попытка устроить побег поставит под угрозу всю нашу работу здесь. И мы во всяком случае поставим под угрозу нескольких наших людей. Сделать ничего нельзя. В конце концов это единица. И, может быть, он не в такой уж опасности. Во всяком случае он не проболтается».

Конечно, он не проболтается, — можете не сомневаться! И он вовсе не желает, чтобы ему устраивали побег, хотя особенно тяжело сидеть здесь именно теперь, когда великий день, наконец, наступает, и потом...

И вдруг перед ним встала вся его родная Словакия, развернулась широко, словно охваченная объятиями гор, сияющая в летней красе, полная тёплым благоуханием дикого тимьяна и цветущей сливы, с белыми пушистыми облаками над зреющими виноградниками, полями паприки и пашнями, с маленькими девочками, пасущими стада гусей и нежной свирелью пастухов на одиноких горных пастбищах.

Иван вскочил. Он стал у двери и прижался ухом к доскам. Он придумал план.

Когда через некоторое время за дверью раздались шаги, он начал стучать, крича:

— Эй, камрад, камрад!

— Перестань орать, чтоб тебя! — зарычал часовой в ответ. — Если тебе что-нибудь нужно, скажи тихонько: часовой, пожалуйста, — вот и всё... Ну, в чём дело?

— Можно мне водички, камрад? После хлеба жажда мучит.

— Не болтай так много. Воспрещается.

Однако дверь вскоре открылась. На пороге показался часовой. Выражение его лица было еще более сердитым и раздражённым. Он указал на стоявший у его ног маленький бачок.

— Пей досыта, я больше не приду.

Иван поднёс бачок к губам, продолжая следить за солдатом, который избегал его взгляда и нетерпеливо шарил в карманах своей слишком тесной куртки.

— Ну, напился?

— Да.

— Тогда поставь сюда бачок... Вот сюда. А теперь я советую тебе сидеть смирно, — чтоб ни звука! Часовой, который сменит меня, шутить не любит, понятно?

— Понятно, камрад. Только скажи мне, есть у тебя что-нибудь курнуть?

— Ну, знаешь, это уж слишком. Ты что, совсем спятил?

— Я не курил со вчерашнего вечера, камрад.

— Да мне-то какое дело?

— Знаю, камрад, но ведь ты же мне дал кусок хлеба.

— Замолчишь ты когда-нибудь! — Солдат снял фуражку, вынул из-за подкладки папиросную бумагу и насыпал в неё табаку из кожаного кисета. — На, а уж свернёшь сам! — Он передал Ивану маленькую полоску бумаги с тёмным табаком грубой крошки. Затем вытащил кремень, огниво и высек искру.

— Ну, скорей!

— Ладно, ладно, на хорошее дело время требуется, — заметил Иван. Он тщательно оближал край папиросной бумаги и так же не спеша свернул папиросу. Затем зажёг её. — Скажи мне, бра-

ток, — закончил он, пуская к потолку кольца дыма. — У тебя есть дома собака, есть ведь?

— Ну, а если есть?

Иван глубоко затаился, перед тем как продолжать. После каждой фразы он делал паузу и пускал к потолку кольца дыма.

— Есть у меня овчарка... Раньше мать её у меня была... Знаешь, такие косматые, с длинными ушами... Пёс, как золото, верный и сильный.. А уж чуткий!.. Умён, что твой человек... Всё понимает, когда говоришь с ним. Знаешь? — Он испытующе посмотрел на солдата и прищурил глаза. Солдат поднял брови, но продолжал молчать.

Иван заговорил снова:

— Так вот я ужасно беспокоюсь об этой собаке. Надо, чтобы кто-нибудь покормил её да присмотрел за ней... Нет, подожди, мне ничего от тебя не нужно... Но, может быть, ты передашь словечко одной из женщин, там наверху. Здесь у вас в замке работает одна. Её зовут Анной, она говорит по-немецки и любит животных; ты ей только скажи, чтобы она, мол, присмотрела за собакой разносчика Шипко — не сдох бы пёс, вот и всё.

— Ни за что на свете, — решительно заявил солдат, оправляя куртку и стягивая пояс, словно желая этим подчеркнуть свой отказ.

— Послушай, камрад, это ведь пустяк. Может, и я тебе пригожусь когда-нибудь. Ведь всё может перемениться, знаешь ли.

— Ни за что на свете, я уж сказал, — хрипло прорычал солдат. Его поднятые треугольником брови задрожали. — Больше ничего не сделаю, — повторил он ещё ворчливее. — Лезь обратно в свою нору. Смена может притти каждую минуту!

Как бы подтверждая слова солдата, где-то скрипнула дверь, кто-то начал спускаться по лестнице в подвал.

— Эй, часовой! Ефрейтор Фронгубер!

— Войди внутрь, — прошипел солдат, толкая Ивана в глубь подвала, — и не шевелись. — Он повернул ключ в замке и крикнул: — Так точно, есть!

Иван слышал, как он ушёл.

Его шаги быстро замерли вдали. Воцарилась тишина.

Медленно катились часы, словно они были сделаны из тяжёлого камня. Серый дневной свет за окном стал меркнуть. Почти незаметно подкрался страх и вдруг подступил к горлу, как засасывающая тряпина.

Вернее всего солдат ничего не сказал Анне. Его друзья в полном неведении. Партизаны не получили известия. Кто знает, какое несчастье может от этого произойти?

И ещё нечто усугубляло страх и муки Ивана. Иван и сам не смог бы выразить этого в словах. Но если бы мог, он сказал бы приблизительно вот что: все мы несём в нашем сердце образ лучшей жизни, полной счастья, свободы и человеческого достоинства. Этот образ, эта грёза о новом мире нужна нам, как хлеб, за неё мы боремся, за неё умираем. И вот — не быть при том, как сама действительность протягивает руки к этой грёзе, чтобы совлечь её на землю — не быть при этом, не участвовать в этом, вот что нестерпимо тяжело... Нет, Иван Шипко никогда не нашёл бы подходящих слов. Не сумел бы никогда объяснить, но он знал, что это так. И он знал, что ему надо сделать — восстать, сейчас, немедленно, со всей силой, на какую он способен; броситься на часового; вырваться на волю или, что более вероятно, быть пристреленным и таким образом вызвать сумя-

тицу в доме, чтобы друзья могли узнать, что случилось.

Иван начал барабанить кулаками и бить ногами в дверь. Он бросался на неё всем телом. Он кричал.

Ни звука.

Сделав передышку, он начал съезнова.

Ни звука.

Что же теперь? Разбить себе голову о стену? Но тогда они просто зашвырнут куда-нибудь подалее его труп, и никто из слуг не будет знать о его смерти. »

Он в третий раз принялся стучать и звать.

Опять ничего.

Или нет — что-то было?

Да, какой-то звук! Но он раздался с противоположной стороны, со стороны окна, едва различимого в густевших сумерках.

Иван застыл на месте, затаив дыхание, весь превратясь в слух. Вот опять, — не то мягкий скрип, не то царапанье. С величайшей осторожностью Иван подполз к стене, в которой было окно. Что это за тень движется там? Мрак был слишком густой. Звуки прекратились. Иван ждал. Всё лицо его покрылось потом.

Вот! Царапанье возобновилось!

Может быть, это летучие мыши?

Что-то упало. Вероятно, камешек. И ещё камешек. Или это всё-таки?..

Иван опустил на колени, пополз по полу. Его руки скользили по шершавым плитам, по многолетней пыли. Вдруг упало ещё что-то, звякнуло рядом с ним. И в ту же секунду Иван держал в руках острый предмет — осколок стекла, оконного стекла.

Он уже стоял на ногах. Скрип наверху становился всё громче. Теперь был слышен ещё и лёг-

кий треск. В подвал ворвалась струя холодного воздуха. Запахло сосновой смолой. Да, кто-то надавливал на оконное стекло смазанной смолой тряпкой, чтобы осколки прилипали к ней.

Сердце Ивана прыгало. Его губы дрожали. Сверху раздался тихий свист, звучащий, как сигнал. Иван ответил таким же свистом. Быстро протянув руки, он крепко схватился за кончик брошенной ему верёвки.

У стены сидела на корточках бесформенная фигура. Вдали в глубине двора трепетал огонь фонаря. На фоне этого огонька вырисовывался скорченный силуэт с огромным круглым горбом.

Анна тоже была здесь.

— Всё в порядке, Иван? Вы можете ходить?

— Конечно, могу.

— Ну тогда...

Её прервали. Метнулась какая-то тень, и собака прыгнула Ивану на грудь, чуть не сбив его с ног.

— Тише, тише, Набат, — шептал старик, сжимая руками морду собаки. — Вот мы и опять вместе. Молчи, тише! — Он обернулся к Анне. — Да, да, животное иной раз умнее человека.

— Надо идти, — торотила его Анна, — мимо сарая и вдоль стены. И, главное, тише.

Задняя калитка была открыта. Парк поглотил их. Там, где высокие деревья сменялись кустарником, Анна остановилась.

— Нам лучше расстаться здесь, — шепнула она. — Вы можете идти по течению ручья. Завтра утром они начнут поиски с собаками. Ну, тогда вы уже будете далеко, я надеюсь.

— Да, уж теперь они меня не поймают.

— Вот тут... вам псесть и деньги.

Иван сжал её руку.

— А я ведь не думал, что вы меня вызволите!

Анна ласково засмеялась.

— Не знаю, поступила ли я по правилам. Боюсь, что нет. Но у нас так мало людей — каждый на счету. Мне помогал только Юло. Как видите, этого оказалось достаточно. Нужно будет не упустить из вида этого солдата. Ну, а теперь пора Счастливого пути.

Она скрылась между стволами. Горбун исчез ещё раньше, чтобы стать на страже.

Иван потёр болевшие бока. Он хотел как-нибудь успокоить своё волнение. Издалека донёсся свист птицы. Иван вышел из парка. Ночь была чёрная и жесткая, как антрацит. Редкие звёзды блестели, как сусальное серебро. Иван глубоко-глубоко вдохнул в себя холодный вольный воздух.

— Нет, больше они меня не поймают!

13. СТРАХ И НЕНАВИСТЬ!

Дети, возившиеся на улице рабочего посёлка, вдруг побросали свои игры и понеслись к шоссе, к мосту на краю посёлка. Они сбежались, как дворянки, почувявшие издали чужих.

Облако пыли, в которое они всматривались, стремительно приближалось и вскоре начало просвечивать. Первой показалась голова лошади, затем всадник, ещё лошадь и, наконец, целая группа людей верхами. Стволы ружей блистали синевой в морозном свете раннего зимнего солнца.

— Эсэсовцы, — заявил курносый парнишка лет семи с видом знатока. Он сплюнул в сторону всадников. — Вот чорт принёс!

— Чёрные мундиры? Ври больше! — возразил с такой же самоуверенностью вихрастый мальчик того же возраста. — Эсэсовцы всегда ездят в машинах.

Уже был слышен стук копыт.

— А всё-таки это чёрные мундиры, — настаивал первый мальчик. — У них черепа на шлемах.

— Ишь, какой зоркий! — насмешливо заметил вихрастый.

— Верно говорю, я уж знаю, вот... смотри-ка... видишь сам. Череп на шлеме у офицера, который спереди... Эх, досада, он как раз его снял... Ой, какой смешной! Голова, как гусиное яйцо.

Мальчик вытащил из кармана старый ключ, приложил к губам и засвистал: тр-тр-тр-тррр... тр-тр-тр-тррр...

Один из всадников привстал на стременах и угрожающе поднял кулак. Дети рассыпались с визгом и попрятались за ограду моста. Выглядывая оттуда, некоторые продолжали высвистывать сигнал. Снова посыпались угрозы.

— А ведь ты верно сказал, Адам, — заметил вихрастый мальчик журносому. — Это эсэсовцы настоящие. Смотри, — прервал он себя, — куда это они?

Маленький отряд свернул с шоссе и поехал короткой дорогой к конторе Мёртвой фабрики.

Дети покинули свой наблюдательный пункт на мосту и разбежались по посёлку.

Капитан Дегенфельд положил ноги в сапогах со шпорами на ручку дивана. Его отёкшее лицо, обычно бледно-красное, теперь имело синеватый оттенок. Из-под тяжёлых век он следил за директором фабрики, неуклюжим человеком с курчавыми волосами, приготовлявшим пунш на письменном столе среди разнообразных образцов бумаги.

— Гм... недурно пахнет. — Капитан сел и взял из рук директора бокал в виде тюльпана. Он отпил и проворчал с удовлетворением: — Хороший пунш, соплеменник... Гм... как вас там зовут?

— Петерзилька, капитан Хорст Гюнтер Петерзилька.

— Как? Пет... Печ... Пеф...

Дегенфельд сделал гримасу, как будто вдруг раскусил зерно перцу.

— Чорт побери, какие вы тут фамилии понабрали!

— Всеми виной печальная участь германцев, попавших в чуждое окружение, — объяснил директор, стараясь говорить металлическим голосом и выставив вперёд подбородок, который был, к его огорчению, слишком короток. — Особенно мы, карпатские германцы, до «нового порядка» мы могли сохранять наши германские особенности только ценою опромных жертв и усилий. — Он нерешительно остановился, почувствовав на себе стеклянный взгляд капитана. Быстро провёл руками по упрямо курчавившимся волосам, пригладить которые стоило ему такого труда. — Что касается меня, — закончил он, — я ходатайствовал о перемене фамилии ещё год назад, согласно закону о регерманизации и дегерманизации фамилий. В принципе моё ходатайство удовлетворено, задержка за местными властями. Вы хорошо знаете, капитан, что такое местные власти. Они всегда плетутся в хвосте.

— Да, уж эти писаки, — снисходительно заметил Дегенфельд. Он сделал глоток из бокала и обсосал губы. — Во всяком случае, ваш пунш стоит за себя, соплеменник Пше... пм... Словом, прекраснейший пунш.

Описав рукой круг, он деревянным жестом поднял бокал на уровень глаз и залпом осушил его.

Директор щёлкнул каблуками.

— С вашего разрешения, капитан, ещё бокальчик. Он метнулся к столу. — Я сейчас сварю.

— Нет, хватит, — решил Дегенфельд. Он встал,

зевнул и похрустел пальцами. — Во всяком случае пока. Я ведь подкрепился перед поездкой, да, да, хе-хе-хе...

Он замолчал, и Петерзилька, начавший вторить его смеху, оторопел и закашлялся. Дегенфельд перестал обращать на него внимание. Засунув руки в карманы брюк, он начал ходить по комнате от окна к двери и обратно. Всякий раз, когда он подходил к окну и надо было поворачивать, он останавливался на миг и смотрел на портрет Гитлера... Лицо его было таким холодным, что Петерзильку мороз подрал по коже.

— Да, если бы у вас на заводе всё было бы так же хорошо, как этот пунш, — вдруг сказал Дегенфельд, остановившись и взяв директора за пуговицу визитки.

Тщетно сляясь улыбнуться, директор обнажил свои гнилые зубы.

— Я не совсем понимаю, — неуверенно пробормотал он. — Если в моём докладе о нашем заводе было что-нибудь, капитан... то... я могу только подтвердить, что все правила о мерах поддержания заводской морали соблюдались нами буквально. Осмелюсь напомнить вам, что наш завод был дважды упомянут в ежемесячных отчётах министерства просвещения и пропаганды как пример образцового осуществления на практике национал-социалистских принципов, в частности — идеала расового единства...

Дегенфельд сделал резкий жест.

— Выключите-ка свой промкоговоритель.

— Что... как... что... вы сказали?

Растерянность директора развеселила капитана.

— Здесь, — заметил он, ослабившись, — не подходящее место, чтобы произносить речь в защиту «воскресного обеда из одного блюда». — И, не давая директору даже перевести дыхание, он режущим

голосом продолжал: — Не будем ломиться в открытую дверь, соплеменник... гм... — Капитан заложил руки за спину и снова начал ходить взад и вперёд. — Семнадцать несчастных случаев за месяц, продукция на тридцать процентов ниже, чем в прошлом году... Стоп, внимание! Пожалуйста, не говорите мне о недостатке рабочих рук, материалов и тому подобную ерунду. Мы всё это знаем. Мы всё это превосходно знаем, мой друг. Ну, а что вы скажете насчёт порчи оборудования? Разве вы сами не заявляли, что теперь чистить машины можно только в присутствии охраны? И что за странное совпадение! Ведь у вас все жертвы несчастных случаев исключительно гвардейцы Глинки или другие прогерманские элементы. Ясно? А знаете, как называют подобную ситуацию? Её называют... собачий ящик... Да, а теперь я проглотил бы ещё стаканчик... Не-ет, воды не нужно, достаточно и рома... Благодарю.

Он взял бутылку из рук директора и налил себе бокал.

— Да, так вот как обстоит дело, — продолжал он, — и нам мягкодушничать непростительно. Мы на территории врага. Нельзя доверять даже гвардейцам Глинки. У меня был случай на специальном военном заводе около Братиславы. Вся смена состояла из гвардейцев, начиная от инженера и кончая последним учеником. И всё-таки весь цех был ярко освещён во время воздушного налёта англичан. Да, да. И команда противовоздушной обороны только что была тщательнейшим образом прочищена. Были оставлены только люди из гвардии Глинки, люди, прошедшие особое обучение в Германии. — Он отпил рому. — Что касается остальных, не входящих в гвардию, то все они, кончая вот такими сопляками, ненавидят нас, как чуму. Как чуму, — повторил он, снова наливая

бокал до краёв. — Но этого, конечно, надо было ожидать. С самого начала. Вот почему следовало сразу же произвести радикальную чистку. Этот словацкий сброд нельзя ни перевоспитать, ни привлечь на свою сторону, остаётся только одно... — Он снова налил себе рому. — Истребить их, истребить их! — Он встал, раздвинув ноги, как шкипер во время бури, и поднёс бокал к своим выпученным глазам. — Последний, — пробормотал он, поведя плечами. Затем снова обратился к директору: — Единственная правильная мера. А вместо того наши дипломаты и экономисты выдумали «сотрудничество в рамках нового порядка». Сотрудничество? Да, и я говорю то же. Но нельзя иметь партнёром человека, которому не доверяешь. Да лучше я его в землю закопаю, иначе он меня схватит за горло. Да, схватит, вот так...

Дегенфельд при последних словах втянул голову в плечи, его обвислые щёки посерели. Директор был ошеломлён. Что это значит? Разве так должен говорить офицер-эсэсовец? Один из чёрных гусаров фюрера, уверенный в победе? Воплощение самой власти? Нет, этого не может быть.

— Капитан, — с трудом произнёс Петерзилька, преодолевая спазмы в горле.

Но Дегенфельд не слышал. Тем же тусклым, отсутствующим взглядом, каким он смотрел на портрет Гитлера, капитан уставился на бутылку, которую он с размаха поставил на стол так, что она опрокинулась. Тоненькая бледная струйка потекла по бумагам со знаком свастики и закапала на пол.

— Всё. — Капитан глухо засмеялся. Директор почувствовал, как по его рукам и ногам снова пробегает озноб. И раньше его не раз охватывало предчувствие поражения, и страшный призрак

вставал перед ним, но ему всегда удавалось сейчас же отогнать его, а теперь призрак не хотел отступить. Забытые, стёртые картины проходили перед его глазами — лица рабочих на заводе в время воздушной тревоги, когда в небе гудели русские бомбардировщики, — лица людей, на мгновение переставших наблюдать за собой, полные горячих надежды и радости. Окровавленный мозг диспетчера, убитого камнем всего в двухстах шагах от столовой, где он совещался с гестаповцами. Жестокое знакомое парня из заводской охраны, пойманного в то время, как он отвинчивал рельсы и ту же расстрелянного. Даже, умирая, он поднял кулак... И красные буквы надписи на стене сада: «Настанет день, когда нацистов и их прихвостней ничто не спасёт!»

Холодный пот выступил на лбу директора. Он поспешно отёр готовые скатиться капли. Ничего не считая. Он потел всё вновь и вновь. А ноги были точно восковые. И этот воск таял. Директору пришлось сесть.

Тоскливо следил он за капитаном. Капитан встряхнулся, словно вылез из воды, и проделал несколько гимнастических движений.

— Проклятые судороги, — прогнусил он раздражённо. — Это всё после бомбы в мюнхенской пивной. Иногда начинается после второй или третьей бутылки. Господи, да что с вами? — воскликнул он, останавливаясь перед директором. — Сдрейфили? Нет, это невозможно, дорогой мой. Возьмите себя в руки. Помните, как поётся про Хорст Весселя: «Поднимем флаг, сомкнём ряды и встанем плечом к плечу!» Вот, доигрались. — Он хлопал директора по плечу. — А теперь взглянем, почему ефрейтор заставляет нас ждать так долго.

Петерзилька вскочил.

— Рад стараться, капитан.

В это время кто-то коротко и осторожно постучал в дверь. Капитан ещё раз хлопнул директора, подбодряя его, и обернулся:

— О, это наверное он. — И, словно командуя на параде, рывкнул: — Войдите!

Долговязый ефрейтор появился в дверях. Его глаза на сером лице поблёскивали.

— Честь имею явиться, — отчеканил он.

Капитан Дегенфельд небрежно ответил сержанту на гитлеровский салют и scomандовал вольно. Затем стал медленно натягивать белые перчатки палец за пальцем.

— Что, список готов? Вы, должно быть, не очень торопились с ним, верно? Ну, давайте сюда.

Сержант вынул листок бумаги, торчавший между двумя верхними пуговицами его мундира. Пробегая ряд имён, капитан спросил:

— Сколько тут?

— Двадцать один, господин капитан.

— Сколько мужчин?

— Десять, господин капитан.

— Я вижу, гм... Один грузовик не заберёт?

— Нет, господин капитан, понадобится, по крайней мере, два. Я тут смотрел — машин сколько хочешь.

— Хорошо, всё готово?

— Так точно, господин капитан.

— Отлично. Мы можем сначала пройтись по цехам... Хе-хе-хе... Пошли, соплеменник... Что ещё? Да что с вами, дорогой, вы бледны, как испуганная нимфа. Где болит?

Петерзилька с нарастающим ужасом прислушивался к разговору между обоими эсэсовцами; под конец он не выдержал и рухнул в кресло.

— Нет, но... — пробормотал он, — я, вероятно, ослышался, капитан... Двадцать один... — Его

слова словно примерзли к губам под стеклянный взглядом капитана.

— Ничего подобного, мой друг, — отозвался капитан. — У вас великолепный слух. И вы поняли вполне правильно. Мы позволим себе арестовать и посадить в тюрьму двадцать одного рабочего в интересах безопасности империи и армии. Вот список, если это вас интересует.

Директор взял список и склонился над ним. Его руки начали дрожать.

— Это... это... это невозможно, капитан.

— Что такое?

Директор сгорбился, словно над ним была занесена палка.

— Я хотел только сказать, капитан, двадцать один... из них десять мужчин, все специалисты. А у нас всего две трети необходимого квалифицированного персонала... всё производство будет дезорганизовано... а мы работаем на армию, капитан, на армию, не на что-нибудь другое... это просто катастрофа... Как же мне теперь выполнять норму?

— А уж это, мой дорогой, ваше дело. Моё дело охранять спокойствие и порядок, и я это делаю.

— Но, капитан, не может быть... у нас... двадцать один... нет, нет, здесь какая-нибудь ошибка.

— Никакой ошибки, всё вполне правильно, — заявил Дегенфельд с многозначительным видом. — Вы, должно быть, не отдаёте себе отчёта в серьёзности положения. Дело обстоит так, что не сегодня-завтра нам предстоит настоящая война с партизанами, а вы говорите — ошибка. Никакой ошибки нет. А если и была ошибка — и это ещё мягкое слово, — так со стороны директора, который допускает столько враждебных элементов в ряды своих рабочих. — Он замолчал и наслаждался действием слов.

Петерзилька совсем растерялся.

— Ради бога, — простонал он. — Я решительно

ничего об этом не знал. То есть я хочу сказать... разве есть непосредственная опасность?.. Умоляю вас... — В волнении он не находил слов.

Капитан зажёл папиросу и выпустил дым.

— Ах, помолчите, пожалуйста, — сказал он зловеще. — В конце концов, знаете, война — это вам не страхование жизни. Успокойтесь, мы ещё пока сидим крепко, и вам волноваться нечего.

— Да, господин капитан, — директор, наконец, овладел собой. Его ноги подгибались, и зубы стучали, но, сделав героическое усилие, он заставил себя выпрямиться и выставил вперёд слишком короткий подбородок.

«СС — это всё-таки СС, — с восхищением подумал он, но страх вдруг опять охватил его. — Конечно, хорошо ему ходить барином в чёрном мундире. Если здесь будет плохо, он смотается в Германию, а нам тут придётся расхлёбывать». Директор всё же выставил грудь колесом, вытянул руки по швам и пронзительно возгласил: — Народ и армия могут положиться на нас, пограничных германцев! И ныне и вечно.

— Хорошо, хорошо, — Дегенфельд надел свой стальной шлем и отсалютовал одним пальцем.

— А теперь пойдём. Вперёд — марш! — Он вышел из комнаты.

Петерзилька последовал за ним, стараясь подражать деревянной походке капитана.

Молодой монтер с мягким, почти девичьим лицом и густыми кудлатыми волосами слез с лестницы, стоя на которой, он чинил электрические провода машинного отделения.

Мастер, тощий человек с лицом сморщенным, как детский воздушный шар, сердито накинулся на него.

— Кончил наконец? — спросил он раздражённо.

Монтёр покосился на него и безмолвно стал укладывать инструменты в потёртую, просаленную холщёвую сумку.

— Что «наконец»? — отозвался он. Движением головы он откинул спадавшие на лоб волосы и продолжал, задорно повышая голос: — У меня только две руки, а не двадцать, я бы хотел видеть, кто может скорее работать с этим паршивым эрзац-материалом. Может быть, вы меня научите? — Его взгляд скользнул по фигуре мастера и остановился на гвардейском значке, укреплённом в петельке его комбинезона.

— Заткнись, — прошипел старик. Его сморщенное лицо, казалось, съёжилось ещё больше.

Монтёр собирался ответить ему резкостью, но помощник мастера, возившийся в углу, вдруг уронил маслёнку. Монтёр проглотил свой ответ и продолжал укладывать инструменты.

Мастер подозрительно посмотрел на него, но не нашёл никакого повода для нового замечания. Обернувшись к помощнику, он увидел, что тот погружён в работу. Взглянув на новые провода, он снова обратился к монтёру:

— Будем надеяться, что некоторое время продержатся.

— Ничто не вечно под луной, — отвечал юноша.

Он произнёс это странным тоном и опять многозначительно покосился на значок.

Мастер пожелтел от злости.

— Долго ты ещё тут будешь торчать?

— Ничего я не торчу. Просто хочу руки вымыть. Вы ведь знаете: достоинство труда — национальное сокровище. — Он засмеялся. — Найдётся у вас тряпьё и кусочек мыла?

— Ты прекрасно знаешь, что тряпьём протирают только машины. Вот возьми газету и золы. — Он указал на стопку бумаги и ведро с золой.

Юноша наклонился над ведром, но к газетам не прикоснулся.

— От них только грязнее делаешься.

— Пожалуйста, не учи меня, — отозвался мастер.

— Чему это я вас учу? — спросил юноша невинным тоном.

Крик, раздавшийся из угла, заставил обоих обернуться.

— Какого там чорта ещё? — крикнул мастер.

— Палец прихватило, — раздалось в ответ. —

Пустяки.

— Ну а тогда зачем же вопить? — проворчал мастер.

Он поискал глазами молодого монтера. Но тот успел отойти к чану и мыл руки, разбрызгивая воду. Старик некоторое время смотрел на него, затем вышел из цеха, бормоча ругательства.

Монтер отвернулся от бака с водой. Он направился к помощнику мастера.

— Ну, Карел, отбрили мы его как следует.

Помощник нахмурился.

— Зачем затевать с ним ссору, Ян? Навлечёшь только на нас неприятности... А это нам сейчас совсем некстати.

Монтер виновато засмеялся.

— Я знаю, Карел, но иногда трудно удержаться. В конце концов ведь и я не деревянный.

— Это не извинение для таких, как мы, Ян.

— Верно. Больше не буду.

Ян вдруг стал серьёзным. Он понизил голос:

— Анна прислала записку. Разносчик вернулся и...

Он не мог продолжать. Карел схватил его за руку и так сжал её, что суставы хрустнули.

— Что ты сказал?

Ян высвободил руку и потёр покрасневшую кисть.

— А что тебе известно на этот счёт? — про бормотал он, но, подняв глаза, был так потрясён выражением беспредельной радости в лице Карела обычно столь владевшего собой, что сейчас же заговорил другим тоном: — Да, да. Разносчик вернулся и ещё привёл с собой кой-кого оттуда.

— Ян, дорогой мой! — Карел прикрыл глаза рукой. Когда он отнял её, его лицо было снова спокойно. — А когда мы увидимся с ним? — спросил он обычным сухим тоном.

— Завтра вечером. Часом позже, чем обычно.

— Хорошо. Есть ещё новости?.. Посмотри-ка что это? — Электрическая лампа над индикатором вдруг стала мигать. — Как видно, ты не слишком-то хорошо починил провода, мой мальчик.

— Подожди минутку, это, вероятно, не имеет никакого отношения...

Лампочка снова замигала. В её мигании был определённый ритм. Оба переглянулись.

— Сколько раз она мигнула? — спросил Карел.

Однако ему не нужно было подтверждения Яна. Он и сам знал, что она мигнула трижды — условный сигнал, говорящий, что гестаповцы близко.

— Поскорей сматывайся, — торопил Карела Ян, не давая ему времени для возражений. — Уходи сейчас же. Никогда нельзя знать, что может случиться во время их визита. Если тебя не будет, тебя не могут взять на заметку. А если они пришли именно за тобой, то тем более... Помни, мы решили, что ты ни в коем случае не имеешь права рисковать арестом... И потом теперь, когда разносчик вернулся... Да уйдёшь ты отсюда или нет? На вот, возьми шипцы и молоток и полезай на крышу. Проверишь громоотвод и затем спустишься по проволоке. — Он подтолкнул Карела к железной лестнице, которая вела из машинного отделения на крышу. — Скорей, скорей.

— А ты?

Ян только махнул рукой.

— За мной ещё ни разу не охотились. И потом я единственный монтер на заводе. Я слишком нужен... Но если хочешь терять время, то я в этом не участвую. — Он вскинул сумку с инструментами на плечо и вышел. Когда он с порога обернулся, Карела уже не было.

Посвистывая, Ян пересёк двор и вошёл в ремонтную мастерскую, откуда он мог следить за механическим цехом.

Когда оба эсэсовца завернули за угол, они увидели рабочего, висевшего на громоотводе. Заметив их, он перестал работать молотком и помахал им рукой. Когда они приблизились, он спрыгнул на землю и на ломаном немецком языке попросил огоньку закурить трубку.

— Не могу без курева, — сказал он, снова взбираясь по проволоке. Когда они обогнули следующий угол, он уже закончил свою работу. Окружённый клубами дыма, он прошёл мимо них.

На углу он остановился и принялся завязывать башмак. Затем неторопливо удалился.

Скрывшись из виду, он свернул в сторону и направился к кучам золы.

Капитан Дегенфельд, глубоко засунув руки в карманы шинели и вздёргнув плечи, шествовал своей деревянной походкой по территории фабрики в сопровождении директора, нескольких эсэсовцев и фабричной охраны. Его обвислые щёки побледнели, переносицу бороздили морщины. Осмотр фабрики окончательно вывел его из равновесия. При его входе люди и машины в каждом цехе замедляли движения. Он всюду чувствовал её, эту невидимую стену, которая его окружала: глаза, смотревшие

мимо или сквозь него, лица, каменевшие при его появлении, губы, смыкавшиеся от его слов. Море холодного отчуждения, среди которого заученные салюты мастеров и начальников цехов, украшенных значками гвардейцев, казались особенно противостественными и нелепыми. Правда, всё это было не новостью для Дегенфельда. Но никогда ещё подобные впечатления не были так сильны, не было чувства, что он стоит лицом к лицу с целой системой тайных блоков и проводов, с целой машиной, действующей беззвучно и неуклонно, как химический процесс в бомбе замедленного действия.

Воротник мундира стал ему тесен. Чорт его знает, чем его угощал директор под маркой ямайского рома. Или это нервы сдают в конце концов? Вздор... Но если этот соплеменник не перестанет болтать...

Дегенфельд мрачно посмотрел на директора, который шёл позади на шаг. В десятый раз этот человек объяснял, что вот уже несколько месяцев, как в цехах не было найдено ни одной из этих возмутительных листовок.

Точно это имело значение. Просто эти негодяи наловчились и стали осторожнее. Они великолепно исполняют свои роли, достаточно одного взгляда, и — трах! — машина остановилась, новая авария. И они отлично информированы обо всём, что происходит вокруг: и в Польше, и в Венгрии, и в Чехии. Они, конечно, знают о растущих волнениях, о нападениях партизан, обо всех этих предвестиях урагана, о которых Дегенфельд читает каждый день в зашифрованных сводках своего начальства. Конечно, они знают всё, несмотря на свои непроницаемые лица. И, разумеется, ждут подходящего случая, ждут своего дня. О, будь они прокляты!

Капитан остановился.

— Можете не тратить времени на ваши объяснения, — охладил он директора. Его голос прозвучал

чал, как свист кнута. — Достаточно посмотреть на их лица, чтобы судить о степени их лояльности. — Раздражённо обвёл он глазами фабричное здание. — Что ещё надо осмотреть? — Только машинное отделение, и тогда вы видели всё, капитан. — Петерзилька уже распахнул двери, пропуская Дегенфельда вперёд.

Капитан с удивлением обвёл глазами цех.

— А где же рабочие?

— Рабочие... — директор завертел головой, как испуганный цыплёнок. В это время через свиту Дегенфельда протолкался мастер. — Где ваши помощники? — обратился к нему Петерзилька.

— У-у... у меня только один помощник в эту смену, — пояснил старший механик. — У нас не хватает людей. Прежде нас было трое.

— Капитану это неинтересно, — прервал его Петерзилька. — Дело не в этом. Он просто хочет знать, где ваш помощник.

— Он... он... должен быть здесь, господин капитан. Сейчас я поищу...

— Ладно, только поскорее, — заорал на него Петерзилька. — Живей пошевеливайтесь!

— Слушаю, господин директор. — Мастер побежал со всех ног. Он заглянул за машины, в соседний склад инструментов, было слышно, как он выкрикивает фамилию помощника: — Му-у-ха...

Дегенфельд стоял в стороне от остальных, играя своим почётным кинжалом. Вдруг он насторожился.

— Как его фамилия?

Директор подскочил к нему:

— Муха, капитан, Муха. — Он обратился к мастеру, который вышел из склада с растерянным видом. — Так ведь?

Мастер кивнул, и снова раздался голос директора: — Муха его зовут, капитан, Муха.

— Я слышу. — Дегенфельд кивком подозвал

долговязого ефрейтора и шолотом обменялся с ним несколькими словами. — Муха, Иозеф Карел? — спросил он вслух.

Петерзилька повторил вопрос мастера:

— Иозеф Карел?

— Да, господин директор.

— Так! — прорычал Дегенфельд. — Иозеф Карел Муха зовут этого господина.. И он находится в подозрительном отсутствии. Недурно, очень недурно. — Вдруг он заорал на директора, напугав его до потери сознания: — Ну что вы усталились на меня? Этот тип стоит первым номером в нашем списке. — Он сделал знак ефрейтору.

— Тревога! — крикнул сержант, поднося к губам сигнальный свисток.

Пронзительные свистки ответили ему снаружи.

Спрятавшись между кучами золы, Карел видел, как два часа спустя два грузовика с арестованными выехали через фабричные ворота. Конные эсэсовцы окружали грузовики.

На лугу, в некотором расстоянии от дороги, выстроились двумя длинными шеренгами дети и старики из посёлка. Они оцепенели. На всех лицах было одно и то же выражение ужаса и ненависти. Они смотрели вслед грузовикам, пока те не скрылись вдали за холмом. Какая-то женщина угрожающе подняла кулак. Затем все сбились в кучу, как испуганные овцы.

Навсегда осталась в памяти Карела эта картина — чёрные мундиры, проезжающие со своими пленниками между двумя стенами страха и ненависти.

Капитан Дегенфельд тоже унес с собой эту картину.

Он туже подтянул ремень шлема под подбородком.

— Мы взяли слишком мало, — решил он. — Сколько их ни хватай, всегда остаётся слишком много, слишком много...

Он изо всей силы ударил свою лошадь хлыстом. Лошадь взвилась на дыбы.

14. ПАРОЛЬ «ЭЙ, ПАРТИЗАНИ!»

Солнце село, словно опустилось за край гигантского хрустального подноса. Мохнатая серая туча, края которой как будто пенились, осыпалась первыми снежными хлопьями, и ветер подхватывал их на лету.

Штефан Яника, коловший дрова перед домом, прервал работу, поднял голову, посмотрел на гнездо аиста на крыше и отёр покрасневшее лицо. Только сейчас почувствовал он, как стало холодно. Снег повалил гуще. Вскоре соседние дома были затянуты густой пеленой. Пушистая тишина навевала зябкую дрему, сквозь которую глухо доносилось лишь блеяние козы в хлеву.

Штефан Яника вспомнил, что новорождённый козлёнок ушибся при неловком прыжке и что он собирался взять маленькое животное на ночь в дом. Он вогнал топор в один из нерасколотых чурбанов и заковылял к сараю, чтобы достать соломы для козлёнка. Как обычно по вечерам, он чувствовал боль в ноге. При мысли о том, что он всё должен делать сам, без всякой помощи, хотя в доме трое молодых людей, которые могли бы подсобить, его охватило раздражение. Трое молодых в доме — да, уж действительно, в доме... приходят только есть да спать. Чорт их побери! Он ещё мог примириться с тем, что Анна работает в замке больше, чем дома; как-никак платят деньги и, может быть, защитят в случае чего. Хотя одному богу известно,

что она делает там на самом деле. Ладно уж, это пусть; но что за последние несколько дней Анна занимала даже Юло и Петра своими таинственными делами и всё время куда-то их посылала, — это уж слишком!

— Ну и жизнь! — Яника вздохнул, отодвигая засов на двери сарая. — Не жизнь, а мука, чтоб её чорт побрал! — И он выпустил целый залп ругательств, которым научился когда-то в Америке.

В сарае было черным-черно, но Яника не нуждался в свете, для того чтобы найти свои вилы. Быстро и уверенно начал он таскать вилами солому, сложенную у стены.

Вдруг он услышал странный звук: что-то вроде сопения. Он насторожился. В сене, сложенном поверх соломы, что-то возилось. На минуту Яника решил, что там спрятался какой-нибудь зверь. Несколько лет тому назад залезла же туда старая куница? Но когда звук повторился, стало ясно: что это был человек.

— Кто там? — спросил Яника от страха шопотом. — Он продолжал. Ответа не последовало. — Какой там дьявол сидит! — закричал он.

Наконец из сена раздался ответ:

— Свой... а вы, вероятно, Яника?.. Я дожидаюсь здесь вашей снохи. Она знает, что я тут... Скоро она вернётся?

Голос был незнакомый.

«Ну, уж это...» — в ярости подумал старик.

— Почём мне знать? — зарычал он вслух. — Меня не касается... Я не хочу путаться в эти ваши дела. А здесь не место для разговоров, совсем не место, поняли? — Он собрал солому. — Вот ещё новости, всякий залезает в твой дом, как под собственную крышу, — бормотал он вполголоса, захлопывая с шумом дверь сарая.

Козий хлев был низкий, крыша была из дранок, одна из них оторвалась и свисала вниз. Яника обычно обходил её, но сейчас, пытаясь поймать козлёнка, он сделал резкий поворот, зацепился за дранку и порвал свою овчинную куртку.

Нащупав пальцами дыру, он сердито вышел во двор, отыскал большой камень и прибил дранку на место.

Стук испугал козлёнка. Яника никак не мог его схватить. Наконец он поймал его и взял на руки. Козлёнок начал неистово брыкаться и вдруг помочился на руках Яники.

— Проклятая скотина! — обиженно закричал старик, вытирая руку о кудрявую шерсть козлёнка, сразу притихшего. — Проклятая скотина, ни в чём сегодня не везёт!

Ветер посвежел. Снежные хлопья таяли, не достигая земли. Козлёнок дрожал на руках у старика, спешившего через двор неровными шаркающими шагами.

В кухне горел огонь. Анна была там и Юло тоже. Горбун принёс два ведра на коромысле и выливал воду в большой бак. Анна стояла возле печки.

Не поворачивая головы, она сказала свёкру через плечо: «Добрый вечер». Голос у неё был усталый и неприветливый.

Старик что-то пробурчал в ответ. Он опустил на пол козлёнка и пошёл в чулан за корзиной, чтобы уложить в неё животное.

Когда он немного спустя вернулся в кухню, козлёнок прыгал по каменному полу перед печью так неловко, словно был пьян. Он обжёг себе бок о горячую дверцу и отчаянно заблеял. Анна круто обернулась и наклонилась над животным, припавшим от страха к полу.

— Не могли даже присмотреть за ним! — закричал старик. — Двое вас здесь, а козлёнок обжётся. Эх, управы на вас нет...

Слова застряли у него в горле. Анна подняла лицо. Яника увидел её глаза, широко раскрытые, лихорадочные, окружённые глубокими тенями. Его захлестнула волна неудержимого страха.

— Анна, что с тобой, ты больна? Или, может быть... Ничего не случилось с ребёнком?

Анна покачала головой.

— Нет, ничего не случилось, — сказала она неуверенно, — ничего такого.

С облегчением старик вновь заворчал, по она добавила: — Только... они расстреляли двоих из тех заложников, что взяли вчера.

— Что? Кого?

— Двух арестованных с Мёртвой фабрики.

— И... за что?

— Вчера после арестов в большинстве цехов исчезли все приводные ремки.

— Но... — Яника отёр кончики пальцев о край корзины, которую поставил на скамью перед собой. Он поднял руку и посмотрел на неё, словно это был незнакомый предмет. — Но они же не могут... из-за каких-то ремней...

— Почему же нет? — Анна засмеялась. Это был странный смех, почти крик, почти рыдания. — А почему бы и нет? Они могут сделать всё, что хотят. Они могут расстрелять и всех остальных. Они могут это сделать даже сегодня. Вот что доводит до бешенства! — Она прижала пальцы к глазам, но сейчас же опять уронила руки на колени. Сказала изменившимся голосом: — Вы говорите — из-за каких-то ремней? Это ведь саботаж на военном заводе — вот что они говорят. Да оно так и есть.

Последняя фраза прозвенела в тишине, как стрела.

Юло перелил в бак всю воду. Теперь он занялся козлёнком, взял корзину со скамьи, аккуратно постла в неё солому и уложил козлёнка.

Анна возилась возле печки.

Яника стоял в нерешительности. Затем снова рассердился.

— Я был в сарае, — заговорил он медленно. — Там есть кто-то. В сене. — Он вызывающе ждал ответа.

Но Анна разочаровала его.

— Да, — отозвалась она, переставляя горшок, — да, там есть человек. Это один из наших. Мне казалось — лучше, если вы ничего не будете знать об этом.

Яника не выдержал. Его гнев переливался через край.

— Ты с твоими бунтовщиками, вы всех нас погубите!

— Нет! — Анна спокойно скрестила руки. — Не вас, тех. Да, сначала те ещё нескольких погубят — может быть, многих, как его... там. — Она указала на обтянутый крепом портрет, висевший между окнами. — Но после этого можно будет опять свободно дышать. Мы будем свободно дышать. Вы и я... И дети... наши дети, все дети. — Она усиленно занялась своими сковородами, словно недовольная тем, что у неё вырвались слишком большие слова.

Яника жевал бороду. Он усиленно что-то обдумывал, но молчал.

Котелок запел.

Анна сделала знак горбуну, чтобы он снял с полки тарелки.

— Хватит, Юло, Пётр сегодня не придёт.

Горбун издал один из своих воркующих звуков, показывая, что понял её.

— Ну а как же насчёт того? — вдруг спросил старик, кивнув в сторону сарая. Он покраснел и

насупился.—То есть я хочу сказать... в конце концов ему тоже ведь надо согреть брюхо: замёрз, небось.—Его смущение возросло. Чтобы скрыть его, он громко высморкался в огромный носовой платок, покрытый табачными пятнами.

— Ему не следует заходить в дом, — пояснила Анна, приходя на помощь старику. — Это небезопасно. Никогда не знаешь, кого чорт принесёт.

— Ничего, пусть ест спокойно. Я постою во дворе, постерегу. — Яника быстро натянул тёплую куртку и валенки. — Я пойду позову его. — Он заковылял прочь, но сейчас же просунул голову обратно в дверь. — А как сказать ему? Я не знаю его имени.

В глазах Анны блеснула улыбка.

— Да просто скажите, пусть идёт есть. Скажите — я велела. А зовут его Карел.

Карел судорожно потянулся через стол.

— А вы знаете, кто эти двое?

Анна ждала этого вопроса, приготовилась к нему, и всё-таки ответ не сходил с её губ. Глаза Карела сузились. Его лицо застыло в мучительном напряжении.

— Значит, один был Ян, — сказал он шиплым шепотом. — Ян. . Ах, псы! Ну, они заплатят за это. Они заплатят.

Карел подпёр голову кулаками. В правой руке он всё ещё держал ложку. Медленно разжал он сведённые пальцы, черенок ложки был погнут.

— Скажите, скажите мне всё, — вдруг настойчиво попросил он. — Как всё произошло. Расскажите всё по порядку. Или, может быть...

Он замолчал. Она угадала, что он хотел сказать.

— Вы, вероятно, думаете, у меня нервы не выдержат? — сказала она. — Выдержат, хотя до сих

пор я не могла говорить об этом. Но иногда бывает особенно трудно потом, — знаете, как слёзы у детей. Они не плачут, когда разобьют коленку, и только после, когда видят синяки и запёкшуюся кровь, они поднимают рёв.

Анна сделала попытку улыбнуться, но уголки её губ не хотели слушаться. Она подавила охватившую её дрожь, посмотрела в воспалённые глаза Карела.

— Я-то сама не видела, Карел, и никто из имения не видел. Был там один пастушонок, который на восходе бродил около песчаной ямы. Он и рассказал нам. Арестованных держали в песчаной яме, они были все в наручниках, под строгой охраной. Им прочли бумагу, где говорилось, что завод закрывается вследствие саботажа и что в назидание прочие двое арестованных: Ян и ещё один, Адам Обух, механик, член протестантской общины, — вы знаете его, — будут расстреляны немедленно. А завтра расстреляют ещё четверых, если виновные не будут обнаружены. Арестованные могут облегчить свою участь, если дадут соответствующие показания. Несколько тут же заставили копать могилы для Яна и механика. Когда Яна спросили, есть ли у него какое-нибудь последнее желание, он сказал, что ему хочется потянуться в последний раз — так нельзя ли снять с него наручники. Они сняли. Ян постоял с минуту, расправляя руки, и вдруг ударил по лицу ближайшего к нему эсэсовца. Они тут же открыли стрельбу, все сразу, беспорядочно, как дикари. И продолжали садить в него пули, уже в мёртвого.

Анна кончила. Карел сидел молча, поглаживая дрожащими пальцами погнутую ложку. Когда он прервал молчание, его голос звучал, как всегда, твёрдо и сдержанно.

— Я думаю, этот жест был для него символом.

И не только для него, но для всех арестованных и для нацистов. И для нас, конечно. Он хотел тоже показать, что война идёт не на жизнь, а на смерть и что это единственное возможное отношение к врагу. Вы понимаете, правда? Ведь вообще он был человек очень мягкий — вы бы видели его с детьми или когда он играл на губной гармонике. Да, так и не пришлось ему увидеть товарища с гор... Он так об этом мечтал, он хотел уйти в партизаны. Ну, ладно...

Карел решительным жестом отодвинул ложку, шумно вздохнул и вытащил из кармана исцарапанные, потёртые часы.

— Десять минут восьмого, нам не пора?

— Да, как раз время. А вы не хотите ещё поесть?

— Нет. Но, может быть, вы мне позволите взять с собой кусок хлеба и сыру. — Анна завернула в чистое полотенце хлеб и сыр. — Вот, теперь вам осталось сказать мне только одно: как пройти к месту встречи. Каждый из нас пойдёт порознь, верно?

— Да. Вы лучше идите тропинкой через лес. Она начинается прямо от сарая, у второй просеки вы повернёте направо, там как раз лежит поваленный дуб. С опушки вы увидите маленькую часовню с круглой колокольней. Она стоит на склоне среди можжевельника.

— Постойте, это не семейный склеп барона?

— Совершенно верно.

— Мы соберёмся в самом склепе?

— А почему бы и нет? Это самое безопасное место. Мы набрали на него, когда искали, где бы нам приспособить наш приёмник. Вот увидите.

Мрачное и тревожное выражение в лице Карела исчезло. Его черты посветлели.

— Ого! — воскликнул он. — Подпольная работа

в обществе покойных баронов Альиари — недурно! — Он засунул штанины в голенища сапог и взялся за шапку. — До скорого свиданья.

Его шаги раздались в сенях, заскрипели доски, затем всё стихло. В комнату вошёл Яника.

— Он уже ушёл? И ничего не ел?

— Нет, поел. — Анна поставила тарелку для старика. — А теперь садитесь и вы поужинайте. — Она подала ему, затем подошла к зеркалу повязаться платком.

Яника сделал недовольную гримасу.

— Ты собираешься выйти так поздно?

— Нужно, отец.

— Нужно, нужно... Давно ли ты вернулась с работы? — Он видел, что Анна продолжает собираться, что её не разубедишь, и снова разозлился: — Это же глупость! Ты забыла, что ты на четвёртом месяце...

— Я именно об этом и думаю, — спокойно прервала она его. — Это ещё одна причина, почему я делаю всё, что делаю: это и для ребёнка тоже. Неужели вы не можете понять?

— Как так? Как это? — Старик закашлялся и потёр лоб, словно стараясь что-то припомнить. — Ну, я хотел только сказать, слишком много у тебя обязанностей... Я, например, я готов взять на себя... — Он запутался и покраснел. Усы его взъерошились.

Анна почувствовала, что на её глазах выступили слезы. Всё же она улыбнулась. С робостью и почти материнской нежностью обвила она руками шею Яники, и не успел старик отстраниться, как она поцеловала его в морщинистую щёку.

— Ладно, ладно... — Яника отвернулся и заковылял к себе в комнату.

Он стоял у окна. Анна пошла по двору своей

лёгкой твёрдой походкой, на миг он увидел её в прямоугольнике света, падавшем от кухонной лампы. Затем лиловая мгла поглотила её. Через минуту показался Юло. Его шея была вытянута, как у охотничьей собаки, бегущей по следу.

Яника прижался лицом к стеклу. Небо немного прояснилось. Ночь будет холодная. Медленно проходили минуты и ложились на него тяжёлым грузом. Ветер стучал калиткой и шуршал верхушками высоких сосен за сараем. Необъяснимая печаль вдруг охватила Янику, сдавив ему сердце.

— Анна! — закричал он, негодуя на самого себя. — Проклятый идиот, — пробормотал он. — Ни на что больше не годен. Что в самом деле, как старая баба...

Тяжело опираясь на здоровую ногу, он отошёл от окна и вдруг остановился, словно прикованный. Человек в мундире сделал шаг к нему и спросил:

— Где Анна?

— Кто?

— Анна, ваша сноха. Ведь вы Яника, её свёкор? Старик покрутил кончики усов.

— А-а, господин офицер, сын покойного пастора Выдры.

— Я вижу, вы знаете меня, тем лучше. Пойдите позовите вашу сноху.

— Её дома нет, господин офицер.

— Что?

— Да, да. Она ушла сейчас же, как поужинала. Вероятно, решила навестить кого-нибудь из подруг. Не могу вам сказать в точности которую.

— Плохо. Я думал... когда я вошёл, мне показалось, что кто-то назвал её по имени.

— Господин офицер, верно, ослышался. Анна всегда ходит к подругам по вечерам. Они помогают ей шить для малыша. Может быть, господин офицер не знает...

Выдра покачал головой. Он смотрел на кончики своих сапог, вертя в пальцах снятую перчатку. Вдруг он поднял голову и пристально посмотрел на Янику. Старик всё ещё мял кончики усов. Выдра заморгал.

— Послушайте-ка, вы, — сказал он, раздражённо подчёркивая слова и помахивая перчаткой перед самым носом Яники, — мне сейчас некогда, но я вас попрошу... чтобы Анна сидела по ночам дома, не то... Если она не хочет неприятностей... Слышите?..

В последних словах была явная угроза. Выходя, он зацепился шпорами за мешок, лежащий на полу. Злобно отшвырнул его.

Часовня над склепом семейства Альпари стояла посредине склона, заросшего можжевельником. Склеп был высечен в скале. Под древними сводами помещалось сначала не больше десятка гробов, затем пришлось расширить склеп, пристроив множество ниш и боковых помещений, так что получилась настоящая подземная постройка с многочисленными переходами и закоулками.

У двери в часовню гипсовый ангел с раскрошенным носом грозил тоже полураскрошенным огненным мечом. Карел повесил свою трость на меч и принялся обмахивать сапоги метёлкой, которую он извлёк из-под ангельского шлейфа. В то же время он озирался вокруг.

Заросшие кустами луга у подножия склона были окутаны голубоватой дымкой сумерек. Облака стали тонкими и прозрачными, как потёртая ткань, и сквозь них поблёскивали звёзды. Узкий серп месяца стоял над чёрной овчиной леса.

Можжевельник вдоль склона сгибался под порывами ветра и отбрасывал трепетные тени. Йошко Лигат сидел на ветвях ближайшего дерева

и сторожил. Карел старался рассмотреть силуэт юноши, скрытого листвой, но тщетно.

На цыпочках прошёл он через часовню, и всё-таки его шаги будили необычно гулкое эхо. Тоненький лунный луч озарял своим сиянием голову и одежду коричневой крестьянской мадонны, грубо вырезанной из дерева.

Дверь в склеп подалась удивительно легко. Оттуда вырвалась струя табачного дыма, за клубившегося тяжёлыми волнами в сыром воздухе. Карел понюхал дым. «Хорошо пахнет, — подумал он, — махорка, сомнения нет. Ишь ты, курят! Значит, чувствуют себя в полной безопасности». — Из густого мрака перед ним раздался пронзительный писк мыши. Он ответил таким же писком. Подплыл огонёк папиросы. Карел увидел лицо молодого человека с широким шрамом над светлыми бровями.

— О, вы и есть студент, да? Родственник Яники? Я Карел, а где остальные?

— Да они все там дальше. Идите прямо, а потом налево. Лучше зажгите спичку, а то ушибётесь о гробы. Или вот возьмите папиросу, я всё равно не могу больше курить, мне надо идти сторожить, сменить Юшку. — От папиросы отделилась искра и, падая, осветила какой-то стальной предмет. Карел успел рассмотреть контуры револьвера, но Пётр уже проскользнул мимо, и слышно было, как он закрывает за собой дверь часовни.

Карел пробирался дальше в темноте. Сладковато-горький запах махорки щекотал ему ноздри и нёбо. В скудном красноватом свете окурка очертания гробов принимали странные формы и, казалось, менялись и двигались.

«Как раз подходящее место, чтобы отучить себя

от страха», — подумал Карел и покачал головой, слыша свое учащённое дыхание.

Наконец дорогу ему преградила стена. Изда- лека, слева, донеслись голоса. Вдруг они смолкли, и знакомый голос Ивана Шипко громко окликнул его:

— Кто там? Карел, ты? Иди сюда.

Откуда-то вырвался свет. Карел увидел разнос- чика. Тот стоял во весь рост, приподняв лошади- ную попону, которой был завешен вход в про- сторную нишу, освещённую коптящей керосиновой лампой. Больше половины ниши занимал громозд- кий саркофаг. Несколько человек сидели на его широком подножии, подстелив старое одеяло.

Шипко похлопал Карела по плечу:

— Ну, опять мы оба выскочили! Да, мороз не берёт старую крапиву. — И, увидев, что лицо Ка- рела омрачилось, он торопливо добавил: — Верно, друг, я часто диву давался, как это смерть об- ходит нас, старших, а выбирает самых молодых. Да что с тобой? Ничего не напишешь. Мы ведь за других не прятались. И никогда не станем. А теперь присядь-ка с нами. Вот это Марек Ли- гат, угольщик. А это Марина Крижанова, а это Блумеле, а вот и Иошко идёт, ты уже знаешь его, а эти двое — подкрепление из Мод- ран, — нас слишком мало. Это племянники той вы- сокой рябой Вероны, ты знаешь её. Да что с тобой?

Карел тревожно озирался.

— Я не вижу здесь Анны...

— Ах да, и ты ещё не видел Василия. Чудес- ный парень! Умница! Везде пройдёт! Он понравится тебе. Он работал с партизанами по ту сто- рону гор. Тебе придётся потерпеть минутку, они с Анной как раз слушают нацистское радио. Так что мы будем сейчас знать все новости. Усажи-

вайся поудобнее. Курить хочешь? Тут всем хватит.
Он вытащил туго набитый кисет и стал угощать собравшихся.

Кто-то снова откинул попону, на этот раз снаружи.

Вошла Анна, а за ней широкоплечий человек с коротко остриженными волосами и густыми усами цвета кукурузы. Он был одет по-крестьянски, но одежда сидела на нём как-то по-военному. Впечатление усиливалось полевой кожаной сумкой, висевшей через плечо.

— Вот он, — сказал Иван Шипко. — Эй, Василий, познакомься с Карелом.

Василий подошёл к Карелу и крепко потряс ему руку.

— Вот это здорово! — Его большие светлоглазые глаза внимательно, но дружелюбно оглядели Карела с ног до головы. Улыбка открыла ровные голубовато-белые острые зубы. — Здорово! Значит, теперь мы все в сборе и можно начинать. — Он говорил по-словацки с лёгким акцентом, как говорят жители гор по ту сторону Карпат. — Вся ситуация существенно изменилась, друзья мои. — Все насторожились. Он вынул из сумки листок бумаги, закурил над лампой папиросу и продолжал, то опуская взор на бумагу, то обводя им внимательные лица слушателей.

— Да, весьма существенно. Последние сообщения ставки фюрера — это сообщения о стратегических отступлениях — или как они их там называют, — создали панику в нацистском тылу. В Праге, в управлении протектората, начали жечь документы. Есть много сообщений из разных городов, что то же самое делают там гестаповцы. В Шумперке, в Моравии, немецкие госпитали пытались эвакуировать семьи военных врачей в Германию.

Однако этого не допустили раненые, которых, конечно, не включили в эвакуационные списки. В Братиславе кто-то пустил слухи о восстании, гвардейцы Глинки и солдаты словацкой армии тотчас же побросали оружие. Очень многие гвардейцы воспользовались случаем и разбежались.

Марек не мог удержать своего восторга и хлопнул себя по бёдрам.

— Хо-хо, мы всегда знали, что так будет! Когда начнётся настоящее, эти молодцы сразу же покажут пятки!

Василий спокойно продолжал:

— Общее настроение выразилось в уличных демонстрациях против нацистов и их приспешников в ряде чешских, моравских и западно-словацких городов. Впервые за всё время там произошли настоящие бои с эсэсовцами и немецкими войсками. В некоторых местах бои ещё продолжаются.

В большинстве случаев они возникали стихийно, но подпольные группы тотчас же вступали в дело и придавали им широкий размах. По имеющимся пока сведениям, в районе Кладно и Оставы подверглись нападению семь гестаповских центров. За железнодорожную станцию Трнава идёт бой. В Праге группы «Д», вооружённые ручными гранатами, захватили пулемёты, перебили охрану центральной радиостанции и передали по радио призыв к народу не давать оккупационным войскам ни минуты спокойствия. Создается положение, при котором...

Он потянулся к кружке с водой, стоящей на выступе стены, и отпил глоток. В тишине загудел бас Марека Лигата:

— Вот это люди, а у нас кролики, сопляки.

— Молчи, — остановила его Марина Крижанова, приглаживая свои и без того безукоризненно зачёсанные волосы.

— Ого, — вспыхнул Марек, — скажи, пожалуйста! Ты точно обедню служишь, только епископ и имеет право говорить, а все остальные должны зажать рты.

Он встретился взглядом с блестящими глазами Василия, смутился и сказал тише:

— Говорю, что думаю. Иначе не умею. Уж берите меня какой есть.

— Конечно, — заметил Василий. — Мы последуем библии и не будем взнуздывать вола во время молотьбы. — И он, широко улыбнувшись, показал свои белые зубы, но сейчас же резким жестом призвал слушателей к вниманию и продолжал прерванный доклад. — В связи со всеми этими событиями наши партизанские отряды получили приказ немедленно открыть военные действия по всему внутреннему фронту. По передатчику «Свобода» передано повсюду воззвание. Это означает, что и мы должны перейти к активным выступлениям. Как уже решено, я возьму на себя военное командование нашим районом. Моим заместителем будет, — его палец заскользил по бумаге и остановился на отметке, — Карел Муха. Во главе пулемётного подразделения — Марек Лигат. Вы ведь были пулемётчиком в последнюю войну?

— Да, но... — Марек погрузил пальцы в свою шелковистую бороду. — Где мы, черт подери, возьмём пулемёты!

— Об этом не беспокойтесь, — услышал он в ответ. — А теперь внимание! Я передаю приказы. — Голос Василия прозвучал по-новому строго.

— Я только хотел сказать... — пробормотал Марек и сразу замолчал, когда Василий взглянул на него прищуренными глазами.

— Наша главная задача, — продолжал Василий, присев на корточки и развёртывая на полу кар-

ту, — наша главная задача на ближайшие дни — нанести удар по главному центру врага, поразить паука в середине паутины. Так ведь? — Он бросил короткий взгляд на Блюмеле, которая густо покраснела. — Это была правильная мысль, мы должны порвать паутину там, где нити сходятся, что создаст наиболее благоприятные условия для операций партизанских отрядов. Вот почему завтра утром мы предпримем ряд действий, чтобы изолировать и, по возможности, дезорганизовать штаб полка и резервы, находящиеся в имении Альпари. Группа, состоящая из... — опять его палец заскользил по бумаге, ища отметок, — Юшко Лигата, Марины Крижановой и Блюмеле, перережут главный телефонный провод и два дополнительных провода, соединяющих штаб со станцией и служебными постройками. Удобнее всего будет, повидимому, здесь и здесь. — Он потем сделал несколько крестиков на карте. — Мы ещё обсудим это подробно. Вторая группа, состоящая из вас, вас и вас обоих... — Он показал по очереди на Марека, Шипко и двух товарищей из Модран, — нападёт на грузовик с радиопередатчиком. Шипко знает место. Только один часовой стоит на южном склоне холма, и устранить его будет нетрудно. Оттуда всего шагов двести до грузовика. Несколько гранат хватит, чтобы вывести передатчик из строя. Атака и отход отлично могут быть прикрыты с бугра по ту сторону ручья хорошим стрелком. — Василий обернулся к Мареку и подмигнул ему одним глазом. — Снайпером. Мы с вами это обсудим. Остальные: Карел, Айна, Пётр и я, образуем вспомогательную группу. Первые две группы будут держать контакт с нами. Мы займём такую позицию, с которой легко будет открыть огонь по замку и другим зданиям во время атаки на грузовик с радио. Начало атаки 6.20 утра.

Вполне возможно, что наши товарищи с гор спустятся вниз и вышлют вперёд патрули. На этот случай запомните пароль: «Эй, партизан!» Ну как будто всё. А теперь надо поесть. Потом мы всё обсудим с отдельными группами. — Он сложил карту и встал. В его глазах сверкало веселье, когда он снова подмигнул Мареку. — Что ж, видимо нужно показать вам наши самострелы. А ну-ка помогите, — он подозвал остальных, подошёл к саркофагу и поднял крышку: внутри смутно были видны очертания двух ручных пулемётов.

— Ура!.. — воскликнул Марек, расталкивая остальных и ощупывая пулемёты. — Но это же не максимы, — разочарованно протянул он.

Василий засмеялся:

— Нет, это не максимы, это американские. — Он опять засмеялся. — Да, американские... Это? Мы получили их от польских партизан. Подарок ко дню рождения фюрера. Так сказали они. А поляки получили их от казачьих отрядов, действующих в немецком тылу, и стреляют они замечательно, вы даже не представляете как.

15. ЗАРЯ НОВОГО ДНЯ

— Анна, вы готовы?

— Да.

— Карел?

— Да.

— Пётр, вы тоже? Хорошо. Никто ничего не забыл? Все хорошо уложено? Чтобы не было потом никаких задержек. Отлично. Тогда идём. Каждый из вас будет ориентироваться по идущему впереди. Карел, Анна, может быть, вы привяжете сзади к своим поясам носовые платки, как я, вроде сигнального фонаря. Вот... Ну, пошли.

Группа двинулась вперёд. Василий во главе. Он, видимо, отлично знал местность, точно вырос здесь. За Василием шёл Карел, он нёс на плечах пулемёт, замаскированный пучком прутьев. Затем Анна с корзиной, в которой был коротковолновый приёмник. Пётр замыкал шествие. Он нёс мешок из-под картофеля, полный боеприпасов.

Стояла глубокая ночь. До рассвета оставалось ещё около трёх часов. С тусклого рыхлого неба снова стал падать снег попеременно с дождём. По лугам туман катился тяжёлыми волнами. Намокшая земля громко хлюпала под ногами, грязь засасывала ноги.

Василий шёл очень быстро. Время от времени он менял направление, внезапно останавливался и так же внезапно снова пускался в путь. Анна с трудом сохраняла расстояние. Не раз она пугалась, теряя из вида маленькое белое пятнышко, трепетавшее сквозь туман, как белая бабочка. Ей стало жарко, лямки корзины резали плечи.

В лесу идти стало легче. Между деревьями стоял густой запах земли, гниющей древесины, тумана и хвойных игл. Ветер шевелил вершины, набухшие от дождя и мокрого снега. Когда отряд переходил через просеку, вдали залаяла собака и с лаем бросилась навстречу путникам.

— Чтоб тебя чорт подрал! — Карел остановился и стал шарить рукой по земле.

Но в это время лай сменился жалобным визгом. Камень, пущенный рукою Василия, попал в собаку, и она поспешила спастись бегством.

С чувством облегчения Анна поправила на плечах лямки. Когда она снова подняла глаза, белая бабочка исчезла. Её сердце дрогнуло.

Она поспешила вперёд. За собой она слышала шаги Петра и его тревожное учащённое дыхание.

— Стой! Кто там? — Карел присел за стволом

упавшего дерева и уставился в зелено-черный сумрак зарослей слева.

— Что случилось, Карел?

Он неопределённо мотнул головой, приложил палец к губам. В чаще слышался шорох, и из зарослей вылез Василий.

— Там большая проезжая дорога. Нам придётся пройти по ней кусок, — сообщил он шопотом. — А с другой стороны кто-то едет.

— Как? В эту пору? — удивился Карел. — Это может быть только...

Василий знаком заставил его замолчать. Сквозь вой ветра, шум дождя и ночные шорохи леса доносился отчётливый скрип и звуки человеческого голоса.

— Крестьянская телега, — решил Василий. — В упряжке один вол. Седок поёт.

— Будет вам сочинять.

— А вот подождите.

Телега медленно приближалась.

— Вы правы, — шепнул Карел, — я теперь сам слышу.

Сквозь скрип колёс доносился усталый человеческий голос, меланхолично выводивший:

Хо-ха-ха-ха-ха-ха,

Ох-ах-ах-ах-ах...

Певец смолк, затем снова начал. На этот раз можно было разобрать слова:

Эх, новые хозяева,

Хо-ха-ха-ха-ха-ха,

У вас головки завиты,

Ах-ах-ах-ах-ах-ах...

Анна вдруг вскочила.

— Куда вы? Зачем? — Василий схватил её за руку.

Анна попыталась высвободиться.

— Это... я узнаю этот голос... Это мой свёкор.

— Что?

— Ну да, свёкор.

Пётр подтвердил её слова:

— Да, это голос старого Яники.

— Что ему надо здесь в такое время? — Лицо Василия всё ещё выражало недоверие. Ездок снова щёлкнул кнутом и крикнул.

— Но-о... Серый.

— Так зовут нашего вола. — Анна вырвалась из рук Василия и скользнула в чашу.

— Посмотрите, как она бежит... Хоть бы оставила здесь корзину... Вы видели что-нибудь подобное? — шепнул Василий Петру и Карелу.

Он вытащил револьвер.

Но скрип колёс прекратился, и они услышали, как Анна, задыхаясь, разговаривает с кем-то. Вдруг Анна глухо вскрикнула, и её голос был полон ужаса.

И сразу наступила тишина. В этой тишине была смерть.

Затем раздались рыдания Анны. Минута казалась часом. Трое мужчин вышли из оцепенения. Они приблизились к дороге. Анна стояла на коленях в прязи, прижимаясь лбом к краю крестьянской телеги, до половины наполненной соломой. На соломе лежало окоченевшее тело. Это не был ни ребёнок, ни подросток. Грудь его вздымалась крутым горбом. Беспорочная голова была вдавлена между плеч, залитые кровью глаза на изуродованном лице закатились.

— Юло! — пробормотал Пётр. Он отпрянул от телеги. — Как это случилось? — Он обернулся к Янике, стоявшему рядом с Анной и теребившему её время от времени за рукав. — Как это случилось, дядя Штефан?

Старик опять не ответил. Только когда Пётр повторил в третий раз свой вопрос, он рассказал:

горбуна убил офицер. Нет, не нацист, а словак, сын покойного пастора Выдры. В течение вечера офицер два раза приходил справляться об Анне. Во второй раз он вёл себя вызывающе и грубо бранился. Когда он обыскивал комод в комнате Анны, вдруг вошёл Юло, бросился на него и укусил в плечо.

— Вот и всё, — закончил старик.

— А куда же вы везёте тело?

Яника нахмурился и забрал в рот свой ус.

В конце концов они поняли из его скупых слов, что он очень долго ждал Анну, затем отправился искать её и взял с собой тело горбуна, чтобы избавить её от потрясения, когда она, вернувшись, вдруг увидела бы труп. И вот теперь первое, что увидела Анна, был как раз этот труп.

— Эх, горе!.. — С гневным смущением Яника почесал затылок, затем вдруг решительно заявил: — Садись, дочка, поедем домой и похороним его.

Он попытался поднять Анну, но она предупредила его и легко вскочила на ноги.

— Простите меня, — сказала она Василию, отирая слёзы, — простите меня, я знаю, что так нельзя. Этого больше не случится. Прошу вас, поверьте мне. Больше никогда. — Анна обернулась к Янике: — Я не могу поехать с вами, отец. Уж отвезите его сами. Мы его похороним потом. Сейчас некогда. Поезжайте, поезжайте, не беспокойтесь за меня.

Ошеломлённый Яника позволил Анне вложить ему в руки вожжи и стегнуть лошадь. Только когда телега снова закрипела, он обернулся к ней, но она уже исчезла среди ночных теней вместе со своими товарищами.

Яника машинально опустил кнут на спину животного:

— Но-о, Серый...

Через некоторое время четверо партизан снова услышали его унылую песню:

Хо-ха-ха-ха-ха-ха,
Да новые хозяева,
У вас головки завиты,
Ох-ах-ах-ах-ах...
Чае придёт — за все обиды
Всем вам справим панихиды.

Затихший было ветер снова зашумел. Он рвал серые слои тумана над вершинами. Снег и дождь прекратились. Зеленоватые звёзды поблёскивали на бледневшем небе, до рассвета оставалось немного.

Они взбирались вверх по оврагу. Позади в долине слышался заглушённый лепет ручья.

Тропинка оборвалась. Они стали пробираться дальше напрямик. Колючие ветки кололи им ноги. Поклажа казалась им вдвое тяжелее. Тело цепенело от усталости. У Анны невольно слипались глаза...

— Стоп! — Силуэт Карела отчётливо выступил из мглы. Он обернулся к Анне. Глаза у него слезились. — Тише! — сказал он хриплым шопотом.

Башмаки Анны глубоко ушли в сырой мох. Вокруг забулькала вода. Через секунду Анна уловила какой-то звук слева, ещё через секунду она отчётливо расслышала шаги. Карел присел на корточки, Анна последовала его примеру. Шаги звучали громче. Кто-то высморкался и сплюнул. Донёсся запах дешёвого солдатского табака. Карел беззвучно шепнул:

— На тропинке, вон там...

Теперь шаги были совсем рядом. Вдруг они смолкли. Звякнул металл. Простуженный голос спросил по-немецки:

— Что это там зашуршало?

Сонный голос раздраженно ответил:

— Глупости, кому там быть?

Грязь снова зачавкала, и шаги замерли вдали.

Тихонько сдерживая сердцебиение, Анна продолжала прислушиваться.

Василий поднялся на ноги.

— Ночной патруль. Вероятно, последняя неожиданность, больше не будет. — Он посмотрел на часы. — А теперь пора передохнуть. Снимайте поклажу и давайте подкрепимся. Вот сыр, грудинка. И найдётся, что выпить. Вы тоже, Анна: глоток вас подбодрит. Это замечательный напиток. — Он вытащил зубами пробку из пастушьей фляги и передал её Анне.

Она почувствовала крепкий душистый запах хозьего молока и водки. Анна глотнула. Мягко и горячо обожгла водка её гортань и словно смыла всякое утомление.

Пётр, сидевший рядом с ней, вытащил из кармана горсть орехов.

— Возьмите, Анна, я только что собрал, специально для вас.

— Как?.. Что?..

Пётр засмеялся:

— Когда мы сейчас притаились, чтобы пропустить патруль, я нащупал пустую нору хомяка и в ней склад орехов. Как раз для Анны, подумал я и решил вытащить их. Пришлось сдвинуть камень. Это и услышал патруль... Нет, не говорите мне, что я дурак... что я не должен был думать об орехах для Анны в такую минуту... именно в такую минуту думаешь об очень многом. Вот сейчас, например, я думаю, что наконец, наконец-то мы будем стрелять в них. А где-то глубоко-глубоко в душе я думаю... о ваших глазах... Они сейчас, как облака...

— Тише, вы...

Василий взобрался на дерево и посмотрел в бинокль. Затем сполз вниз. — Идём, ребята! Теперь уже недалеко, но времени осталось мало.

Василий командовал «стоп!» недалеко от вершины холма на опушке леса.

Они быстро вырыли укрытие, помогли Василию установить пулемёт и замаскировали его сосновыми ветками.

Затем легли на землю и стали ждать, каждый на своём месте, где указал Василий.

Заря занималась.

Вдали башня замка выплывала из тумана.

Где-то жиденько зазвонил колокол. Заваяли сабаки. Стал виден холм и кусты скрывавшие грузовик с радио. Из труб замка поднимался тоненькими струйками дым. Время тельо медленно, словно застывающие капли воска.

— Который час, Василий?

Он только мотнул головой.

В сумраке обрисовался фасад замка, двор и конюшни. Затем из мглы выступила гора. Молочное небо над ними порозовело.

Василий поднёс часы к уху.

— Что такое, Василий?

— Ничего, терпение.

Анна посмотрела в бинокль, который дал ей Василий. Она различала красные цветы на окнах экономки, дверь кухни, циферблат часов над подъездом. Было больше половины...

Анна не успела додумать до конца, как с покрытого кустами холма донёсся глухой взрыв. За ним другой, третий. Огромный веер дыма взвился в воздухе и развернулся над лесом, пулемёт затрещал и смолк.

— А мы, Василий?

Он лежал возле пулемёта, подвывая желтоватые брови, не сводя глаз с замка.

Во дворе сразу проснулась жизнь, задвигались чёрные и серые пятна. Из флигеля выбежал офицер. Анна узнала желтый яйцеобразный череп.

Пулемёт Василия ~~нарушил тишину~~. Он вскинул руки и во весь рост растянулся на снег. Бинокуляр выскользнул из рук Анны. Она почувствовала под сердцем острую, колющую боль.

Петр метнулся к ней:

— Анна, что с вами?

Без сознания. Пулемёт Василия продолжал чётливо стрелять. Над крышей одной из колодезьных построек вспыхнул слабый пламень.

— Наши там в дождли! — закричал Каша. Он выскочил то ли из сигнала!

Толпа перед замком рассыпалась. Двор сгинул. Несколько неподвижных тел лежало на сером белом песке.

Из парка к замку бежал человек. Солнце светило его зеленоватый мундир, мундир славянского офицера. Вдруг грязный снег вокруг него взлетел брызгами, а пулемёт застрекотал чаще и громче. Человек побежал зигзагами, на втором повороте он подпрыгнул и упал.

Василий прекратил стрельбу. Всё смолкло. Только посвистывал ветер, он теперь дул с востока. Стало цвета расплавленного металла, тёмной стальной в него врезались горы. Воздух посвежел. Еле покачивал ветки сосен и доносил далёкий гул, словно ехали нагружённые камнями телеги.

Партизаны перетянулись. Они сразу, без слов поняли, что это бой в горах.

Анна снова почувствовала колющую боль. Хотя на глазах её выступили слёзы, она с благодарностью приняла её. Шепотом, словно сражаясь с неожиданной радостью, она ответила Петру на заботливый вопрос:

— Ничего, всё хорошо, Пётр. Я слышу, как шевелится... Я слышу, как он начинает...